

*Вячеслав
Карпенко*



ВАСИЛИЙ СКУРАТОВ

СЫН БЕКТАСА И ТАТЬЯНЫ, ВНУК ДОСЫМБЕТА И КОНСТАНТИНА

Крестьянская сага

* * *

Роман Вячеслава Карпенко «Василий Скуратов...» – книга бесхитростная в простоте своей и примечательная по языку, меняющемуся вместе с героем... А герой романа Василий Скуратов гармоничен в своей памяти, как сама природа, среди которой он вырос. Он не судья никому, кроме себя.

Кажется, сама жизнь строит сюжет этой книги. Да это так и есть. В конце каждой из частей наш герой возвращается с войны, словно с тяжкой работы. Но и возвращается – тоже к работе: по израненной земле, которую ещё предстоит ему обихаживать, чтобы передать следующему поколению. Передать в надежде на разум человеческий, на то, что война будет последней.

И потому книга становится не просто биографией одного человека. Она – словно биография осмысления истории, что складывалась и поворачивалась на глазах; биография сознания целого класса, из которого вышел герой, – крестьянства. И того, что с ним прodelьвали на всём протяжении нашей истории...

Олжас Сулейменов

* * *

Память сохраняет нам лица, голоса, слова людей, встреча с которыми порой способна изменить жизнь, масштабнее увидеть и ощутить мир и – себя в нём. И эта встречаемость, как и память о ней, помогает нам обрести понимание своего пути, наконец, просто выживать в нашем непростом мире, не изменяя себе и не принося неуютя окружающим и природе. И вовсе неважно, на какой тропе встретишь ты человека, дарящего тебе свой опыт, своё понимание места под луной или просто – навык выживания.

Мне везло на встречи с красивыми людьми, где бы это ни происходило: с таёжником, научившим в любую погоду разжечь костёр и не забыть оставить дрова в охотничьей избушке, со старым табунщиком, открывающим мне душу коня... И конечно же повезло на встречи с людьми, чей талант не только профессиональный, но, если позволительно так обозначить, ещё и талант душевный подарил мне незабываемые мгновения – а наша жизнь и есть всего лишь промельк в бесконечности времени – мгновения красоты мысли и чувства... А порой и боли. Не физической, нет, которая также преходяща. Но – Душевной боли сострадания, понимания личной ответственности за землю предков, за природу, что даёт нам жизнь...



Мне повезло и на встречу с человеком, судьба которого легла в основу романа. Эта встреча и общение открыли мне новые грани жизни, стойкости и потенциальной возможности человека оставаться собой в самых сложных обстоятельствах, порой невыносимых. И ещё открыли красоту и ранимость земли – степи и гор, леса и рек – которые полюбил душевно и незабвенно...

На фоне истории героя романа Василия Скуратова поднимается целый пласт совместной народной жизни казахов, сибирского казачества и русских крестьян-переселенцев. Двадцатый век оказался не только веком великих открытий и жестокости к своим талантам но и временем революций, кровопролитных мировых войн и развалом могучих империй. Этот трагический вихрь событий ломал привычные уклады, перемещал целые народы, словно испытывал человечество на самую возможность выживания... Судьба отдельного «простого» человека, неминуемо втягиваемого этим коловоротом, складывается не только из трагических или счастливых случайностей, но и из того, каким он в эти «случайности» входит. Из его характера, из тех земных корней и соков, что составляют его духовный, нравственный стержень, позволяющий личности остаться человеком в любых ситуациях.

Литературное произведение, роман – вовсе не биография одного человека. Даже рассказываемая самим героем, его история включает в себя целую эпоху, катаклизмы времени и причудливость случая. Но эта сокровенность повествования даёт ещё и возможность узнать пути становления, изменчивость взгляда на жизнь и самооценку. А ещё помогает увидеть то многое в укладе и бытии социума, что противно природе человека, но способствует рабству: зависть, жадность, желание видеть соринку в чужом глазу, не замечая бревна в собственном. И тем важнее понять и оценить негромкое мужество и достоинство героя.

Роман «ВАСИЛИЙ СКУРАТОВ, сын Бектаса и Татьяны, внук Досымбета и Константина» был напечатан в Москве малым тиражом. И, несмотря на многие добрые отзывы, прошёл незамеченным. Мне кажется, что эта эпопея или, как я её обозначил, «Крестьянская сага» должна быть прочитана казахстанским читателем. И дело не в авторской амбиции. Просто в нём через судьбу одного человека отразилась сложная история прошлого века, и не только. И, конечно, история этой красивой земли, Казахстана, её многообразия, многоцветья и... проблем выживания.

Вячеслав Карпенко

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЖИВЁМ, БРАТ!

..Всё это было истинным, потому что нигде человеку конца не найдёшь, и масштабной карты души его составить нельзя.

В каждом человеке есть обольщение собственной жизнью, и поэтому каждый день для него – сотворение мира.

Этим люди и держатся.

А. Платонов. Сокровенный человек

1

Война... Через Кызыл-Ординскую область – по Туркестано-Сибирской и Ташкентской железным дорогам – беспрерывно проходили воинские эшелоны на запад. Слышишь периодические гудки, затем показывается порожний паровоз, идущий безостановочно с ровной скоростью в сорок-пятьдесят километров, словно проверяющий рельсы. Затем минут через двадцать проходит воинский состав с солдатами, зачехлёнными орудиями и танками, с часовыми, одиноко нахохлившимися на открытых платформах. И становится тревожно – опять война. И, как всегда, во все времена в России: ну, это ненадолго, никому не устоять против такой мощи – пусть только сунется...

Тем непонятнее и тревожнее становилось от известий об отступлении, о взятии гитлеровцами городов, пока не пришло сознание – это серьёзно, эта война никого не минует и многое возьмёт – у каждого. Работа осложнилась сразу: в первые же месяцы из небольшого коллектива облконторы в тридцать пять человек была разбронирована четверть специалистов, места которых нечем было заполнить. Почти с первых дней ухудшилось плановое снабжение, а рынок также сразу отреагировал: стоимость мяса, рыбы, картофеля и других продуктов поднялась до баснословных размеров.

Больше двух лет прошло, как умерла Мария, и что там – одному жить было неприятно. Тоска по родному человеку рядом, понимающему и ждущему, порой перехватывала дыхание, особенно в одинокие холостяцкие ночи. Однако на какой-нибудь решительный шаг теперь я отважиться не мог: напряженная обстановка не сулила спокойствия, и поэтому не хотелось отягощать собой чью-то жизнь, а себя – новой тоской по близкому человеку.

Первые эшелоны с эвакуированными принесли настоящее ощущение беды, нависшей над нами. В область они стали прибывать в сентябре-октябре сорок первого. Встречали людей, которых война заставила кинуть родные места, целыми коллективами, школами: эта забота тоже давала местному населению ощущение общей беды и ответственности.

К прибытию эшелонов в городе готовили квартиры, в основном за счёт уплотнения прежних, да и откуда их было взять. Заранее готовили и питание, способное в первое время поддержать эвакуированных людей.

По каким-то причинам я в первый день встречи не попал на вокзал, а вечером ко мне зашёл расстроенный знакомый из системы общественного питания Махмуд Дояти.

– Я, паныма-аэшь, ждал несчастных, – с ходу выплеснул он свое разочарование эвакуированными. – Детэй ждал, стариков истощённых, больных ждал – дорога длинная, люди дом оставляли бегом! И сколько сил потратил, чтобы продукты достать, запастись чтобы, ты можешь знать?! А половина – мужчины, вполне здоровые, па-ачему не воюют, скажи?.. Меня па-ачему не пускают воевать, скажи, да?!

– Все ведь люди, какая разница: значит, отсюда уйдут на фронт. Ты слышал, что фашисты у себя с евреями творили? А уж на завоёванной территории... – ответил я. – Ни детей, ни взрослых не пожалеют.

– Разница-мразница... эх!.. меня вот не берут – па-ачему, знаешь? «Пока нет необходимости! Живите!» – пересказал он кого-то. – Не доверяют мне, да? Из Осетии переселили сюда, а теперь не доверяют! Уйду на войну – или не мужчина я? Мы умеем воевать.

Я успокоил горячего кавказца. Мне думалось, что эта война будет ещё тяжелее прежней, и я был уверен, несмотря на свои сорок лет, что и нашему поколению не миновать её огня.

Вскоре мне пришлось быть в командировке в Терен-Узьяке, в райцентре. Вечеру знакомые работницы из «Заготзерна» пригласили меня к себе, и на квартире у двух молодых женщин застал я нескольких местных и незнакомых, судя по всему – из эвакуированных. Всё внимание было приковано к рассказам молодежавого красивого мужчины лет под сорок, повествующего о дорожных мытарствах и настроениях там, в прифронтовой полосе. Мужчина был из Кишинёва, и рассказы его мне не понравились: больно напуганным он выглядел.

– ...До Сталинграда на колхозных лошадях добирались, уж там на поезд сели, – говорил он. – Сёлами до Донбасса, потом Ворошиловградская и Ростовская области, да только беспокойно там.

– Какое спокойствие, – согласился я, – когда врага ждут. Небось, там военные дружины сбивают, колхозники и рабочие оружие взять готовы, я помню шахтёров по гражданской – крепкие ребята!

– Что вы, что вы! Вы знаете – там ведь немцев ждут, да: надеются, что колхозы разгонят, а им землю и скот вернут. Кто же им оружие доверит! И Донбасс теперь другой – там же кто шахтёрами становился, всё те же раскулаченные да единоличники шахтёрами становились, от репрессивных элементов осколки, вот и ждут...

– Ну, уж послушать вас, – протянул я. – Да-алековато вас, однако, паника-то от дома занесла: можно бы и в Ростовской области или на Кубанщине остановиться, там тоже руки нужны. Дальше Днепра Красная Армия их не пустит!

– И там, и там! Да-да, – зачастил приезжий. – Там казаки уж косятся, тоже ждут. Их «дядьки» с немецких самолётов листовки по станицам разбросали: мол, вернёмся – вольницу казачью восстановим, а жидов и москалей повесим...

– Ну, уж напугали! Не все же ждут, может, кто-то и есть, да вон – в военкомат пойдите, там столько заявлений лежит, на фронт просятся. И вам бы – не здесь быть, семью отправили, понятно, а самому... не-ет, у нас бы так близко стоял враг – любому мужчине без оружия стыдно было бы! – я заметил, что присутствующие, в основном женщины, прислушиваются к нашему разговору, и ушёл на квартиру, где остановился. В сердцах ушёл, муторно стало от страха того в глазах эвакуированного.

Спустя месяц с небольшим, уж и помнить забыл, вызывают меня в областное управление НКВД – для уточнения того разговора на квартире в Терен-Узяке, да откуда, мол, я знаю Вайсмана и тех девушек, к которым в гости ходил в командировке? Откуда ж я фамилии мог знать. А после была очная ставка с тем моложавым мужчиной. Позже и суд состоялся, определивший наказание в пятнадцать лет за паническую и пораженческую информацию, которая и прежде за тем человеком якобы замечена была.

Возможно, тот человек был просто болтуном и «всезнайкой», а никаким не скрытым врагом. Но время подошло тяжёлое, и стране приходилось защищать себя от пораженческих настроений. Нам надо было воевать не оглядываясь... Впрочем, со временем и мне пришлось на себе узнать, как сотни тысяч солдат, попавших в «котлы» и плен по безголовости командующих, одним приказом стали изменниками и предателями... «Не суди да не судим будешь», – мудрость, увы, познаваемая, когда сам обуглишься.

В это время установилась у меня довольно регулярная переписка с сыном. Ещё прежде покойная моя жена Мария всё настаивала, чтобы я съездил и привёз сына к нам. Однако её внезапная смерть не позволила это доброе намерение осуществить. Теперь, за несколько месяцев до призыва, который я уже предполагал, мой Петя написал, что хотел бы приехать ко мне постоянно, потому что из-за сложившихся у них с отчимом отношений он с матерью больше жить не может. Забота была очень некстати: бронь вот-вот могли с меня снять, а если буду мобилизован ещё и до приезда сына?

Списался здесь же я с сестрой и её мужем Елемесом, жившими в Караганде. Мол, если не вернусь с войны, то единственным от меня племенем останется Пётр, а ему и сейчас трудно. Как же быть-то? Сестра срочно ответила, чтобы направлял сына к ним – будет и жить, и учиться. Сын же написал в ответ, что он и меня-то с трудом помнит по нескольким встречам, а уж тётю и вовсе не знает, «уж лучше я здесь и останусь, раз так...»

В эти дни, а точнее – восьмого августа сорок второго года я был мобилизован в ряды Красной Армии.

Шёл второй год войны.

С большой партией мобилизованных военкоматами Кзыл-Орды я прибыл в запасный кавалерийский полк в Алма-Ате. Два месяца напряжённейшей ускоренной подготовки должны были дать новобранцам те знания и навыки, что прежде давались в два года: конный и пеший строй, владение шашкой и винтовкой, противотанковым ружьём (ПТР), ручной гранатой, пулемётом и прочая военная премудрость. Семнадцать-восемнадцать часов занятий ежедневно.

Мне тоже пришлось с самого начала проходить азбуку солдатской науки, так как при увольнении с Новочеркасских среднекомандных курсов за мной никакого звания не сохранилось, а в военном билете было записано просто «курсант». Но приобретённые хоть однажды навыки восстанавливаются быстро. Потому моя сноровка была отмечена уже через несколько занятий, и вскоре командир взвода поручал мне занятия с молодыми.

В это время шли съёмки фильма «Котовский», и наш полк принимал участие в массовых сценах. Мне они живо напомнили дни Гражданской, словно перенесли меня в собственную молодость, и было немножко удивительно, что при такой нашей силе и энтузиазме нынешняя война тянется так долго. Но теперь шла другая война, и нам вскоре пришлось в этом убедиться и нахлебаться «по самое не могу». Двадцать миллионов – это ж не просто цифра – каждый из них дышал, думал, радовался рассвету, любил... и всё это были в основном молодые и сильные мужчины, не успевшие продлить себя и род свой...

Уже после войны и возвращения домой я несколько раз смотрел «Котовского» – на съёмках мне пришлось показать несколько приемов с пикой и конём. Но себя в кадрах увидеть не удалось, вероятно, что-то получилось неудачно. Обидно. Зато мелькнули знакомые лица, многих из которых уже не было в живых.

Командир нашего взвода лейтенант Петров оказался недавним курсантом тех же Новочеркасских кавкурсов, на которых я был в первом наборе. Это, правда, дало ему основание меня же больше и загрузить занятиями с отдельными бойцами, а иногда и с отделением.

Как-то мне и ещё нескольким конникам пришлось патрулировать до села Тургень, в семидесяти километрах от Алма-Аты, в связи с дезертирством двух новобранцев-киргизов. В нашем отряде оказался красноармеец Иван Шкуропат, в котором я нашёл себе душевного друга. С ним мы остались близки вплоть до его смерти...

До отправки на фронт в наш полк несколько раз приезжал народный акын Казахстана Джамбул Джабаев. Вместе с комиссаром полка и в сопровождении других офицеров приходил престарелый поэт в казармы, разговаривал с красноармейцами, рассеянно скользил взглядом по лицам, как видно, в нетерпении

увидеть своих родных. Здесь в полку тоже готовился к отправке на фронт его сын Алгадай и сын его брата. Джамбул считался шефом нашего полка.

В первых числах октября сорок второго года нас отправляли на фронт. Джамбул приехал на проводы. Два лейтенанта, поддерживая старика, провели акына вдоль фронта выстроившихся маршевых бойцов. Наконец с трибуны Джамбул кратко нас напутствовал: «Барындар, жауды найзамен шаншындар, қылышпен шабындар, біздің жерден қуындар, қуындар!» – «Идите, врага колите пиками рубите шашками, гоните, гоните его с нашей земли!»

Вниз по улице, потом по Копальскому тракту до самой станции Алма-Ата-1 полк следовал на лошадях, а по сторонам стояли, шли, бежали матери, жены, отцы и дети. Провожать съехались из ближайших сел и районов – люди понимали, что многие из этих здоровых парней и мужчин больше не вернуться, что кого-то – сына, мужа, брата или отца – они видят в последний раз. Потому картина проводов на войну всегда тяжела и гнетуща, мне оставалось только порадоваться, что некому провожать, хотя на душе тоже было горько. Да и возраст был уже не мальчишеский...

...И хоть шёл наш эшелон на фронт, продвигались мы не так уж споро. Не доезжая станции Чалкар бывшей Оренбургской железной дороги, на каком-то разъезде мы простояли почти трое суток. Здесь жили всего несколько семей железнодорожников, поэтому разжиться было нечем. А продукты, взятые с собой, были съедены. За пять дней следования нас только раз как следует накормили на Джамбулском продовольственном пункте. И если у полутысячи лошадей был всё же запас сена и зерна, то у их хозяев дело обстояло сложней.

Некоторые из красноармейцев покупали по пути в складчину овец или коз, забивали их, а мясо варили на остановках, прося у жителей казаны. Однако цена овцы выросла уже до нескольких тысяч, так что большинству подобное угощение было не по карману. С разъезда командование направило вперёд интенданта – в надежде получить продукты за время вынужденной стоянки, однако ему отказали. Так что нас накормили только в Чалкаре, там мы успели вывести лошадей и немного почистить вагоны. Мы со Шкуропатом смогли купить немного казахской тары (жареное и толчёное просо).

Мир воистину тесен: на Арале мне встретился мой знакомый Маркел Какоулин, он с женой вышел к поезду. Знакомы мы были по работе: Маркел Кузьмич был старшим бухгалтером местной конторы Заготживсырьё. Он сетовал, что его не взяли по болезни лёгких на фронт, и напутствовал нас: «Когда родина в опасности, народ всегда сплачивается. Так что мы всё равно победим... как бы тяжело ни пришлось».

Мне повезло, что и в Актюбинске эшелон простоял несколько часов, но до брата, который был директором Уильской районной заготконторы, я, конечно, добраться не мог. Накануне ухода в армию мне нужно было отправить куда-то вещи, а их набралось немало – солидный сундук еле вместил самое необходимое из одежды и утвари, да ещё получился тюк с кошками, одеялами, периной, ковром и прочим – чуть не полтонны всё потянуло при отправке. К сестре в Караганду отправлять было надежнее, если дойдет, но дорога та была так загружена воинскими эшелонами, поездами с эвакуированными предприятиями и гражданским населением, что всё могло просто затеряться в пути. Так что пришлось отправить вещи к брату, хотя

не было надежды, что за моё отсутствие их не растащут. Так позже и получилось, одно лишь утешало, что разошлось всё же по родственникам.

Когда я заскочил к старшей дочери Камала, то узнал, что вещи племянница получила, но отправить в Уильский район ещё не успела. Здесь же у племянницы на квартире, чуть не впервые хваля её за медлительность, я достал из сундука зимнее своё пальто, обрезал у него полы, воротник и надел под шинель вместо стёганки. Это пальто оказало мне добрую услугу, выручая от простуды всю зиму, потому что ватники мы получили только в конце января следующего года, да и то не всем досталось. Племянница же дала мне в дорогу несколько килограммов жареного проса, толчённого с жиром (тары), оно хорошо утоляет голод.

Где-то за Москвой мы впервые услышали разрывы – немецкие самолёты попытались разбомбить наш поезд, но мы проскочили без жертв до станции Сухиничи, где должны были разгружаться.

Станции как таковой уже не было: разбито, развалено, погорело. Сиротливо торчала только водоналивная колонка да стрелки на расходящихся рельсах.

Мы выгрузились, построились вместе с лошадьми. И здесь услышали неожиданную команду: взять из перемётных сум все личные вещи, а лошадей передать красноармейцам, нас ожидающим на станции. Оказалось, по распоряжению командования первого кавкорпуса и седьмой дивизии мы направлялись для пополнения 19-го гвардейского кавалерийского полка, который нуждался в людях. Лошади же там были. Потому нам и предстояло передать своих коней в другую часть, где их недоставало. Несмотря на наше недовольство этим, лошадей, к которым мы уже привыкли, пришлось передать.

Построив в походную колонну, нас повели сначала на восток, затем резко повернули на запад, видимо, для маскировки. Всю ночь мы шли по раскисшим дорогам. Погода была пасмурная, временами моросил холодный дождь. По пути попадались небольшие деревушки, но без признаков жизни, видимо, из прифронтовой полосы люди были эвакуированы.

Только утром мы прибыли в часть назначения, которая расположилась в густом лесном массиве. Сама природа нас маскировала! При распределении мы с Иваном попали в четвёртый взвод четвёртого эскадрона. Дней пять, пока строили новые землянки, пришлось потеснить хозяев.

Потом мы своим взводом построили удобную землянку, в которой свободно поместилось около сорока бойцов со всем скарбом и оружием, расставленным в пирамидах. Дом, а не землянка, и уютно, и тепло в ней!..

Вначале вырыли котлован в полтора метра глубиной, длиной больше десяти, а шириной метров до шести. Деревя под рукой в лесу достаточно: покатым потолком из подогнанных брёвен засыпали толстым слоем земли, а расколотыми пополам осиновыми брёвнами выстлали пол. Сухо, и дух живой стоял в землянке! С каждой стороны сразу сделан уступ в виде нар, уложили достаточно веток, сверху же брезент и попоны постелили. Откуда приволок кто-то чугунную ванну, непонятно, однако солдат смекалист насчет уюта – может, ему и несколько дней пожить осталось, да зато хорошо. Посреди этой земляной избушки выложили печь из камня, на которую сверху уложили дном к потолку эту самую ванну. Аж гудел огонь в ней, каменные стены печи да чугунная ванна столько давали тепла, что можно было спать в одном белье.

Этот «агрегат» ещё и другую службу нам сослужил: избавил взвод от вшей.

Полк готовился к соревнованиям в честь 25-й годовщины Октября. Во время формирования в Алма-Ате я занимал не последнее место по стрельбе, так что меня выдвинули в подготовительную команду.

Во главе с лейтенантом Литвиненко человек пятнадцать лучших стрелков полка, на которых выдали по норме продукты, ушли от расположения части в небольшую заброшенную деревушку, где и устроили учебный стрелковый пункт.

После выполнения без единого промаха поставленных по стрельбе задач лейтенант освобождал меня – это было примером поощрения для «мазил». И я уходил в избу, где мы остановились: отдыхал и отсыпался, пока остальные упражнялись с утра до вечера. Это хорошо поддержало меня, во время формирования и следования в эшелоне я довольно ослаб из-за недостаточного питания. Здесь же, поскольку получили сухим пайком всё точно и ничего не могло рассеяться по разным местам или рукам, мы были сыты.

После этой «практики» на стрельбище нас откомандировали в штаб дивизии на соревнования. Но они не состоялись из-за сильных ветров и мороза.

В эти же дни комиссар полка Куликов распорядился, чтобы мне было поручено вести политинформацию среди бойцов – как русских, так и узбеков, казахов, киргизов – на русском и казахском языках. Это уже посерьёзнее, чем соревнования по стрельбе! Нужно было много готовиться, чтобы достаточно ориентироваться в истории, географии и других сложных вопросах. Работы оказалось достаточно, так что я был освобождён от караульной службы, хоть и не имел никакого воинского звания – вроде вольноопределяющегося старой царской армии в Первую мировую.

Наконец всеми красноармейцами было получено вооружение: винтовки, патроны к ним, шашки. Однако часть винтовок оказалась с мелкими дефектами вроде сбитых прицельных рам, муфт, мушек. В нашем эскадроне лейтенанту Сорокину и мне было предложено заняться пристрелкой и устранением незначительных изъянов этих винтовок, их оказалось не меньше половины.

Взяв двух красноармейцев для помощи, мы уходили в закрытое место с десятком-другим винтовок, ящиком патронов и щитами. Инструмент самый примитивный и надёжный – молоток, плоскогубцы да напильник. Пристрелять винтовку, если на ней сбит какой-то компонент прицела, после нескольких выстрелов и попадания в одну точку – на это большого знания и труда не требуется. А вот когда пуля из винтовки при каждом выстреле уходит то влево, то вправо, вверх-вниз от мишени – здесь уж дело в стволе, такие просто бракуются, благо их оказалось немного. После двухдневных «упражнений» у нас с лейтенантом правое плечо стало будто чужое – ну-ка, по несколько сот выстрелов проделать...

Откуда-то пригнали лошадей разной упитанности и достоинства, большинство уже под седлом. Коней в эскадроне быстро разобрали – кому что досталось. Мне попался молодой игреневый конёк, но годен он был разве что для обоза. В этой же партии поступил один гнедой, полукровка ахалтекинца, который мне понравился сразу, но достался он нашему помкомвзвода.

Конь имел дурной характер: рвал недоуздки, поводья или чембуры и уходил с привязи, не давая себя ни чистить, ни седлать. Да ещё старался укусить, лягнуть, мог и броситься на людей, прижимая уши, и было странно – как же на нём уже воевали. Когда я осмотрел его, то убедился, что конь достаточно долго находился

под седлом – на спине следы подпарин, подбрюшние заподпружено. «Эге! – сказал я себе. – Это он не без помощи дурного горе-наездника одичал. А конёк-то... что надо». И предложил я сменяться лошадьми.

Коня-семилетку звали Сом, и мы с ним приступили к знакомству и «притирке характеров». Нашёл я в обозной команде верёвку потолще, отрезал конец метра в три. Завязал один конец аркана на шее Сомы калмыцким узлом, привёл его к ужу облюбованной сосне и поставил коня надёжно на аркане.

Верёвка оказалась крепкой: как ни вставал дикарь на дыбы, сколько ни садился на зад или ложился даже, сколько ни пытался бросаться на меня – верёвочка моя не подвела. Он присмирел было, но едва я хотел приступить к чистке или пробовал седлать, Сом начинал снова лягаться, да хитро так – любой ногой мог достать!

Тут уж я не стал щадить: на каждую попытку ударить меня отвечал тем же: охаживал по бокам и ногам сырым прутом и ременной нагайкой. Но, как говорится, «где сена клок, а где и вилы в бок»: кормил я этого чёрта усиленно, потому что конь, видно, от своей же неуживчивости здорово отощал. Вдоволь у него было сена, а овса для него я добывал сверх всякой нормы, отдавая табак.

Положение нештатного агитатора полка не только позволяло, но и обязывало быть в течение дня в разных эскадронах. Торбу для овса я всегда носил с собой: там, где кавалерийские части – возле землянки ли фуражира мешок «протёк», в ларях или ямах, просто ли россыпью на земле – всегда есть зерно и сено.

Начал Сом поправляться и со мной драться почти прекратил, разве что по привычке, да теперь уже и играючи. И со щёткой допускал, и ногой задней не бил во время седловки и затягивания подпруг. Но оставался пока на привязи всё у того же дерева.

Теперь уже Сом стал подавать голос, едва замечал меня идущим к нему с овсом, а позже и просто – завидя. Здесь пошли усиленные строевые занятия, а когда приходилось спешиваться – я просто забрасывал повод на седло и уходил. Однако за моими движениями конь следил не хуже сторожевой собаки, шёл за мной без повода, а если я пускался от него наутёк – он с такой же прытью бежал вослед, расталкивая грудью стоящих на пути красноармейцев, под их смех и удивление.

Дневные и ночные занятия проводились по возможности приближённо к боевой обстановке. Ночью по «тревоге» поднимались со всем вооружением, порой уходили в марш-броске на тридцать-сорок километров, а спустя несколько часов возвращались на свои «стойбища». Готовили и лошадей: выстрелы гремели снаружи конюшни, холостыми зарядами обстреливались они во время занятий вместе с всадниками, а также и когда они были свободны или сбатованы попарно.

Бывало, пугливые свободные кони разбегались, задавая хозяевам заботу в поиске, привязанные же рвали в испуге поводья и чембуры, бешено выкатывали глаза, роняя из-под узды обильную пену. Мой же Сом стоял в этой панике спокойно, лишь поводил ушами, словно ориентируясь в обстановке, да по возможности не спускал с меня глаз. И на переходах он не уставал.

Здесь подошёл смотр, на котором у моего коня выявилась ещё одна неприятная особенность. На смотре в комиссии обязательно находятся ветеринарные врачи, одетые в белые халаты. Конь подводится к столу, где сидит большое начальство, и боец называет себя и кличку своего подопечного. При осмотре по здоровью, упитанности проверяется и как конь ухожен – не пачкается ли белый платок, по-

лотенце, если провести по шее, крупу. И определяется оценка, по которой позже красноармеец получает по заслугам, вплоть до внеочередных нарядов и прочих «поощрений».

Стоило же мне подвести Сома к столу, он загодя настаивался, прижимал уши и с ходу кидался – на белый халат, как выяснилось.

– Убирай этого чёрта! Удовлетворительно... получай свое и отходи, – выговаривалось мне, пока я с трудом справлялся со своим «войкой».

Выяснилось, что этот конь после ранения в шею находился довольно долго на излечении в ветеринарном лазарете, от принудительных перевязок возненавидел халаты и запах лекарств, огрубел и одичал. Из-за гривы я раны не заметил, да он прежде и не подпускал меня со скребком к шее. Но теперь, хоть мы с ним и получили всего «удочку» на смотре, я верил в этого коня. И не ошибся...

В первых числах нового, 1943 года в расположение войск Западного фронта прибывала монгольская делегация во главе с маршалом Чойбалсаном.

В полку для встречи гостей из Монголии был сформирован почётный эскадрон под командованием замкомполка капитана Бухтеярова. В этот эскадрон были отобраны самые опытные конармейцы, попал в него и я. Нас всех вооружили автоматами, хотя их в полку и было всего на ту сотню всадников, что вошла в эскадрон-эскорт.

Ранней ночью, часа в два, сотня выехала на восток, где в пятидесяти километрах находился штаб 16-й армии. Ночь стояла морозная, и когда мы часам к семи подскакали до назначенного места, масти лошадей невозможно было разглядеть от инея. Мы спешили у какого-то сарая, а капитан отправился разыскивать начальство.

Спустя час, за который мы основательно промёрзли, наш командир вернулся с группой штабных офицеров, сопровождающих генерал-лейтенанта – командующего армией.

– Здорово, орлы! Придётся подождать, – приветствовал нас генерал и предложил показать, как в конном строю мы будем встречать маршала Чойбалсана.

Мы были рады немного согреться в движении, да и покрасоваться перед штабными: конники всегда немного сверху и снисходительно посматривают на пеших, пусть те и в чинах. Лошадь всегда словно добавляла достоинства всаднику. После демонстрации умения мы через капитана обратились к генералу: мол, где-то лошадей бы подкормить, да и нам поесть-согреться бы...

– Э, кавалерия! – засмеялся он. – Лошадям уж вы сами добывайте, здесь стога какие-то остались, а интендантства нет. А вам вместо щей, – он обвёл взглядом и прикинул, – пол-литра водки на троих, да колбасы с хлебом, за мастерство! А грейтесь уж сами, помещений здесь не предусмотрено...

– Бла-а... рим! – гаркнули мы. У меня, впрочем, к седлу была приторочена торба с зерном, так что за Сома своего я был спокоен. Несколько солдат съездили за обещанным пайком, поделили поровну и быстренько отправили в желудки, разгорячённые спиртным. Стало веселее, и вскоре мы рассредоточились у костерков, ожидая монгольского маршала.

Делегация приехала часам к шести, когда уже начало смеркаться, на легко-вых машинах. В воздухе летели несколько самолётов-«ястребков» на бреющем полёте, над местом нашей встречи они проделали несколько фокусов-виражей и удалились. Здесь была устроена примитивная трибуна, на которую взошли

маршал Чойбалсан и сопровождающие его. Как видно, ему было известно, что эскадрон прибыл издалека и ждёт с утра: он предложил сократить церемонию и приветствовал по-военному, когда мы прошли перед ним повзводно с шашками наголо и прокричали «ура» чуть осипшими с мороза голосами.

К часу ночи мы возвратились в расположение своих «стойбищ», но на этом наша служба в эскорте не закончилась: дней пять ещё мы находились при монгольской делегации, как во время осмотра нашего полка, так и при посещении других кавалерийских частей.

На Западный фронт делегация доставила большие подарки от дружественной Монголии: в адрес Первого кавкорпуса и фронта было отгружено несколько эшелонов мяса и жира, полушубков, валенок, большая партия строевых лошадей.

Эти встречи, смотры и приёмы снимались прибывшими с делегацией операторами кинохроники и фотокорреспондентами, наш почётный эскадрон здесь не ударил в грязь лицом, как говорится. Жаль, что мне так и не пришлось увидеть эти кадры...

Здесь как раз начали всем бойцам выдавать вместо сапог валенки, от которых я отказался, отговорив и друга своего Шкуропата. Мы обменяли сапоги на большие размеры, сшив в них сапоги-байпаки из кошмы, которую я прихватил еще в Актюбинске. Хоть и немного меньше тепла, зато сапоги не напитываются влагой, а где их в походе сушить? Получили мы тёплые брюки, фуфайки. Это означало ещё, что наша подготовка близится к концу и вскоре предстоит вступить в бой.

По моей рекомендации Иван Шкуропат был взят в обоз эскадрона ездовым. В обязанности ездового входила доставка, перевоз на марше продуктов, фуража, обмундирования и боеприпасов, уход за двумя лошадьми, содержание упряжи. И, по правде, от ездового требовалась исключительная честность, а натура Ивана тому соответствовала.

В конце января весь наш Первый кавалерийский корпус был снят с места формирования и комплектации в районе Западного фронта (калужские и отчасти смоленские леса). Ночью наш полк, как и другие части, погрузился в вагоны. Мы уже знали о разгроме румынской, итальянской армий и прорыве по Среднему Дону, о ликвидации в Сталинградском котле 8-й немецкой армии. Наш кавкорпус направлялся в прорыв Юго-Западного фронта, и мы кляли своё медленное продвижение по железной дороге.

Двигались наши эшелоны в целях маскировки только в ночное время, днём отставаясь на незначительных разъездах. Через десять дней, пятого февраля прибыли на станцию Лиски, где сразу начали высадку. Особенно этому рады были наши кони, застоявшиеся в пути без единой выводки. Правда, они хорошо отдохнули и отъелись. Погода нас встретила пасмурная, но холода не было, веяло оттепелью, и я лишний раз порадовался, что не влез в валенки. Часам к шести полк выгрузился полностью.

Походными колоннами мы двинулись со станции на юг. И уже отъехав километров пятнадцать от Лисок, попали вдруг в густой снегопад. Вскоре подул и ветер, усиливающийся и скоро обернувшийся настоящим бураном.

Дабы части не допускали меж собой разрывов и не сбились с маршрута, командованием полка приказано было организовать из наиболее расторопных и опытных конармейцев движущиеся пикеты. Даже командир полка Егоров пересел с кошёвки на коня, и его можно было увидеть то в голове, то в хвосте колонны.

В числе пикетчиков четвёртого эскадрона патрулировал и я. И вот, находясь в хвосте своего взвода, я услышал шум и громкие матюги: два бойца ругались возле нашего «героя» Троянского, всё ещё опекаемого зачем-то. Тот плакал, кричал до визга, падал с лошади и не хотел ехать.

...Это было наше наказание ещё в Алма-Ате. В нашем взводе он оказался, пережив три или четыре набора в запасный полк. Солдат отправляли, а Троянский, парень лет двадцати четырёх с испытанным лицом и беспомощно несуразной фигурой, оставался со следующим призывом. За полгода в полку он не смог освоить ни одного приёма. На коня его нужно было посадить, а с коня – снять, если ему приказывали перепрыгнуть через полтораметровый ров, он тихо спустится в него, затем, будто ребёнок, на четвереньках по стенке рва поднимется наверх, на стрельбищах – спускался в окоп, ставил винтовку почти вертикально, зажмурился накрепко и давил на спуск, сам весь сжимаясь. Может быть, он был больным, однако врачи за ним никаких физических недостатков не находили. И с ним вынуждены были бесполезно заниматься офицеры – младший комсостав наотрез отказался. При отправке нашего взвода Троянского вновь хотели оставить в запасе, как непригодного. Но братцы-новобранцы подняли шум и потребовали его отправки тоже. Этого только и ждали, кому ж не охота избавиться от балласта...

И вот теперь на марше, когда в любой момент мы могли вступить в бой уже всерьёз, этот недоумок закатывал детскую истерику непонятно по какому поводу. Рядом оказался командир полка и подбехал на шум, спрашивая меня о причине суеты. Я доложил: всё опять из-за Троянского – его уж и здесь знал весь полк. «Пристрелите его, не у тещи на блинах! Всех подведёт, – сказал Егоров. – Коня его заберите с собой». Комполка поскакал вперёд, а мы остались в этой метельной свистопляске, прикрывая лица башлыками. Даже плюнуть было некуда. Всё же я сказал ребятам, чтобы они просто оставили его: «сам пропадёт». Война. Ни лечить, ни пестовать здесь было некому...

3

Начавшаяся с вечера буря продолжалась всю ночь. К утру снег перестал, но ветер с севера не прекращался. Наша часть продолжала двигаться, пока наконец эскадрону не приказали остановиться в небольшой деревушке, чтобы покормить лошадей. Все промёрзли до костей, несколько человек немного обморозились, но никто не падал духом. Наступление вселяло в человека подъём и нетерпение в ожидании дела, которое вот-вот, казалось, начнётся.

Но марш продолжался, почти безостановочный. Этот поход нашего Первого кавкорпуса от станции Лиски до станции Синельниково Днепропетровской области имел целью преследование отступающих от Воронежа и со Среднего Дона неприятельских групп войск.

В этой войне кавалерийские соединения были подкреплены всеми видами оружия – артиллерией, миномётами, противотанковым. Кавалерийскому корпусу придавались танки. Наши дороги лошадь порой могла одолеть быстрее, нежели механизированная часть. Да и в любой момент крупная часть кавалеристов могла перестроиться в пехотную, отослав лошадей с коноводами в безопасное место, и вести наступательные и оборонительные бои. Лошади гибли не столько во время кавалерийской атаки, сколько от налётов авиации.

Мы продвигались вперёд походными колоннами, разными темпами – где рысью, где шагом, где и пешим порядком, непрерывно, лишь с небольшими остановками, всю ночь, а в плохую погоду – и днём. Не меньше восемнадцати часов в сутки, останавливаясь лишь на короткий отдых. Мы ощущали, что висим на плечах отступающего противника. Мы слышали гул отдалённого боя, однако, когда наши передовые кавчасти настигали арьергарды врага, он, не принимая боя и лишь отстреливаясь, продолжал отступать. Наши бронетанковые, механизированные, кавалерийские и пехотные части почти без остановки продолжали преследовать и гнать его дальше.

При таком темпе похода сохранить упитанность лошадей можно только добротным кормом, говорят же в народе – «не гони коня кнутом, гони овсом». Только с полноценным рационом кони могут одолевать на разных аллюрах большие расстояния без утомления. Но нужное количество находилось далеко не всегда. Да и опыта по уходу за лошадьёю не хватало многим. У горе-кавалеристов после большого перехода, когда эскадрон останавливался на несколько часов, чтобы напоить и накормить коней, животные оставались привязанными у забора, не говоря о расседловке, жевали гнилую солому, пока хозяин дрых в хате. Наш комэска капитан Рыжов примечал таких и выгонял к лошади, но разве уследишь за всеми.

Я нашим молодым бойцам рассказывал, как в Первую мировую наши казаки из шестого и девятого сибирского кавполков, что формировались в Усть-Камне, были на германском фронте, потом эшелонами прибыли в Семипалатинск, а оттуда походным порядком вновь были направлены через Семиречье и Среднюю Азию на турецкий фронт. После, уже пройдя время и дороги Февральской и Октябрьской революций, казаки те на своих конях вернулись домой. Вот пример ухода за боевыми друзьями, а кем ещё становится для кавалериста конь?

Наш капитан Рыжов, тоже из Казахстана, угрюмоватый мужик, умел водить свою кавалерию так, чтобы кони проходили большие расстояния, утомляясь минимально. Он вёл нас чаще трусцой – вполрыси, когда лошадь помахивает на ходу хвостом и гривой – это езда всех кочевников на большие расстояния. Правда, такая езда тяжела всаднику, зато конь может пройти без изменения аллюра в два раза большее расстояние, и двадцать километров на нём никак не отразятся.

Мой Сом имел среднюю рысь и галоп, но зато мог ходить очень широким шагом и был подвижен, но не горяч – горячие кони быстро выматывают и себя, и всадника. Я же мог на своём и спать на ходу, тогда Сом потихоньку обходил все четыре взвода и обязательно вылазил в голову эскадрона. Едва он поравняется с конём капитана, тот осаживает плёткой – здесь уж я просыпался и брал повод.

Лошади – умные животные, многие из них быстро привыкали к определённым командам: едва услышат «повод!», как сразу переходят с шага на рысь. Здесь, коли дремлешь, недолго и вывалиться из седла. В этом большом походе насколько лучше выдерживали условия «низкопородные» лошади, так и большей выносливостью и бодростью отличались их хозяева старших возрастов набора, особенно жители сёл и аулов. Многие же молодые кавалеристы постепенно становились мокрыми курицами – и без болезни больными.

В местах, по которым мы проходили, вид той нищеты и обездоленности, до которых за короткое время довели местное население оккупанты, напомнили время Гражданской войны и тогдашней разрухи, но даже тогда крестьянство,

особенно украинское, имело значительно больше возможности поддерживать воинские части...

И тем не менее население делилось с бойцами даже последним, стараясь хоть чем-то выказать радость своего освобождения – кукурузой, картофелем, постными щами, оставшимся от скота сеном.

Во время марша я часто мог встретить своего друга Ивана Шкуропата, который вёз на паре лошадей, запряжённых в большие сани, около тонны печёного хлеба и сухарей в мешках, сложенных и увязанных чуть не двухметровым штабелем. Иногда я выпрашивал у дружка с полкило сухарей – больше он не давал, а я и не настаивал.

Этим стремительным броском наши части прошли с боями и без боёв по территории Воронежской, Ворошиловградской, Харьковской и Днепропетровской областей, минуя станции Купянск, Изюм, Славянск, Барвенково, Лозовая – до станции Синельниково. От Синельниково нам предстояло повернуть резко на север и через Павлоград двигаться на Днепропетровск.

Под Синельниково мы прибыли вечером 23 февраля 1943 года, пройдя с учетом наших зигзагов почти тысячу километров за семнадцать суток. В результате такого темпа от нас, сабельных эскадронов, на два-три перехода отстали миномётные и артиллерийские части, прикомандированные к нашему полку. Рядом с нами подходили и части пехоты, им нужно было отдать должное и посочувствовать: они всё делали на ходу, даже отдыхали прямо в снегу.

К вечеру наш эскадрон, как резервный, и штаб полка подошли на пять километров северо-западнее Синельниково и остановились в селе Майском.

Ночь подступала тихая и лунная, тем слышнее была беспорядочная перестрелка в стороне станции.

На сельской площади нас встретил комполка Егоров, поздравил с днем Красной Армии, поблагодарил за удавшийся поход. «Дальше пока не пойдём – фрицы заняли оборону на станции, – сказал он ещё. – Но мы их заставим бежать ещё и не в таком темпе, а, братцы?!» Мы думали так же.

Эскадрон отвёл и замаскировал лошадей, занял позиции в окрестностях Майского на сторону железной дороги и станции. Остальные эскадроны также заняли рубежи возле Синельниково, а на станции вели бои другие части нашей прорвавшейся глубоко армии.

С рассветом начались массированные налёты фашистской авиации, которые шли на занятые нашими частями позиции волна за волной, эскадрилья за эскадрилей. Такого обилия техники никто из нас себе и представить не мог. У наших же не было ни одной зенитки, ни одного самолёта в воздухе. Грохот стоял невообразимый, повсюду курился дым горящих домов. Метались чьи-то лошади – видимо, близкие разрывы распугали их, а коноводы или погибли, или не в силах были собрать.

Было обидно видеть, как с неба весь день нахально сеется смерть наших товарищей: мы пытались отстреливаться из пулемётов, из ПТР, просто из винтовок, но в этот день так и не сбили ни одного самолёта, хотя они пролетали порой совсем низко над нами. На большом расстоянии обстреливали мы и железную дорогу, по которой двигалось на Синельниково немецкое подкрепление.

С наступлением темноты я был послан в штаб полка для связи, а оттуда получил приказ ехать в расположение третьего эскадрона восточнее станции с распоря-

жением о его передислокации. Когда я прибыл в третий эскадрон, узнал, что его командир Салмурзин был ранен в голову. Мне рассказали, что утром немцы повели наступление танковыми частями. А выстрелы наших противотанковых ружей никак не могли пробить броню «тигров». Несколько всё же удалось остановить гранатами, порвавшими гусеницы, но эти танки продолжали вести прицельный огонь. Почти половина конармейцев эскадрона были ранены или убиты. Здесь погибли и родные Джамбула – его сын и племянник.

К этому времени, видимо ещё до прихода нашего корпуса, обстановка на участке сложилась крайне неблагоприятная. Наши передовые части оказались оторванными от своих резервов, от артиллерии, а большинство танков остались без горючего, особенно те, что дошли до Павлограда. Немецкое командование за счёт отступающих своих войск сконцентрировало значительные танко-механизированные и авиационные части. На поддержку им подходили войска с Северо-Кавказского фронта – из Ростова и Таганрога. В результате на этих участках противник получил значительный перевес в силе.

Немцы оказали не просто сопротивление на одном участке, а перешли в контрнаступление, грозя окружить значительные наши части. В этом ответном наступлении они вновь захватили Харьков, Лозовую, Изюм, Купянск, Славянск и ряд других важных пунктов, которые мы прежде прошли так стремительно на их же плечах.

Видимо, командование фронтом не без основания опасалось котла, в который могут попасть наши соединения. Был отдан приказ об отступлении нашего полка в сторону Лозовой, для соединения с другими частями.

Враг превосходил нас на этом участке в главном оружии – танках и самолётах. Отступали по разным, избегая больших, дорогам разрозненными частями в ночное время, и затаиваясь днём.

После первой ночи отступления наш полк остановился в большой украинской деревне. Но наше нахождение немцы обнаружили и неоднократно принимались бомбить, хотя и не очень успешно – нас спасала низкая облачность.

В радиусе десяти-пятнадцати километров от деревни направилась конная разведка установить движение противника, численность, направление каких-то его частей на село, где остановился полк, дабы иметь возможность принять меры к обороне или дальнейшему отступлению организованно. Я тоже попал в разъезд, мы проехали втроем ряд небольших хуторов, но движения немецких частей не обнаружили. Зато двигалось местное население: люди уходили из сёл, приближённых к большим дорогам, в другие сёла, поглубже, где рассчитывали переждать до окончательного освобождения. Ясности, впрочем, подобное стихийное переселение вносило немного.

За время разъезда никакой особой опасности мы не встретили, разве что погонялся за нами немецкий самолёт-разведчик, попытался обстрелять из пулемёта, а потом вдруг сел на поле. Воспользовавшись этим, мы удрали от него и вернулись в часть.

Доложив командиру о виденном, я поставил Сому в колхозную клуню, а сам зашёл в хату, лёг на лавку и тут же уснул. Спал так, что не слышал налёта на село, только когда одна бомба разорвалась совсем вблизи и меня взрывной волной сбросило на пол, я выскочил наружу. Две чьи-то лошади убитые валялись невдалеке, но мой конь был цел и жевал какие-то остатки половы и солому.

Через час всех поднял приказ о немедленном отходе из села: видно, по наводке авиации с трёх сторон к нам двигались соединения танков, уже начавших обстрел окраин. За это время к нам подошли и другие части, в большинстве своём хозяйственные. Выходили кто как мог: ездовые обозных команд оставляли кухни, сани с продуктами и боеприпасами, убегали верхами, даже без сёдел, а порой и двое на одной лошади.

Было часа два до наступления темноты, и когда мы выбежали за село на открытое со всех сторон место, зрелище представилось тяжёлое: не войска, а бегущая тысячная толпа. В дополнение к этому с севера на нас летело больше десятка фашистских самолётов со зловещими крестами на фюзеляжах. Многие просто оцепенели – мы представляли такую удобную мишень, просто как на учебных стрельбищах, можно выкашивать из пулемёта хоть на выбор... На наше счастье, самолёты где-то уже «разгрузились» – они сделали несколько облётов, будто глумясь над нашей беспомощностью, и улетели в сторону Днепропетровска.

Всю ночь мы мелкими отрядами и разными дорогами уходили на север. Днями скрывались по малым сёлам и хуторам, а с наступлением ночи вновь, не теряя пока организованности, отступали. С каждым днём наши ряды всё же редели: налёты не прекращались, и всё больше становилось раненых и обессиленных. Лошади тоже были на пределе, падали и отставали вместе с всадниками, не в силах их дальше нести. Корм приходилось доставать, как придётся.

В нашем взводе оставалось не больше пятнадцати человек. Нашего командира взвода младшего лейтенанта Чижова больше не было, и теперь бойцы взвода были временно подчинены мне. Теперь приходилось думать не только об отходе, но и о минимальном обеспечении, люди слабели. При входе в село командование распорядилось останавливаться в одном крестьянском подворье группой не менее взвода – так легче собраться для организованного боя! По селу выставлялись патрули и секреты.

В этом селе после устройства лошадей, которым мы нашли сена и натаскали воды, я попросил хозяев накормить солдат: «И не пожалей, хозяйка, своим – голodны ребята!»

– Мы тоже не шибко сыты, – ответила женщина, да это можно было и не говорить. – Постный суп наварю... картошки.

– Э, люди, мясо у вас рядом с домом заготовлено... Бери-ка, друже, нож поострее или топор, да санки у тебя в сенях видел – пойдём за мясом! – ещё въезжая в село, я видел несколько убитых лошадей. Пароль я знал, и мы быстро миновали пикет, направляясь к цели.

Наелись, конечно, до отвала, хозяева – тоже. Да ещё бойцы уложили в сумы по несколько кусков отварного мяса на дорогу.

– А мне понравилось, Вася, – подошёл ко мне хозяин. – И не думал, что есть-то её можно... Может, сходим с тобой – на запас, ещё разок через часовых? Когда теперь мяса поешь...

– Эй, дед, – посмеялись мы все. – Завтра днём не будет тебе патрулей – пируй! Запасёшься надолго, ещё и нас обратно встретишь.

– Не откажись тогда, слышь, дед!..

...Так отходили мы от села к селу, у многих кони едва передвигали ноги, порою всадник был вынужден держаться за стремя, чтобы и самому не вывалиться из седла от усталости и не отстать. Едва мы покидаем село, как знаем – следом

уже немцы, каких-то пять-десять километров, по данным разведки, порою разделяло нас с противником. Порою он оказывался впереди, но в бой тоже вступал неохотно, предпочитая размалывать нас бомбёжками.

Однажды перед рассветом мы остановились в каком-то лесу. Лес был редким и потому не очень хорошим прикрытием с воздуха. Но здесь собрались и другие части, когда-то отставшие от нас – артиллерия, миномёты, несколько даже самоходок с «катюшами». Весь день вновь терроризировала немецкая авиация. Несколько зениток безрезультатно отстреливались, а немцы пронеслись на каких-то трёхстах метрах. Мы тоже непрерывно стреляли по завывающему небу, пока, к нашему ликованию, кто-то не попал-таки – скорее всего из ПТРа. Самолёт загорелся и упал в конце лесной опушки в расположении других частей. После этого фашистские лётчики перестали быть такими нахальными и появлялись уже на приличной высоте.

Видно, человеку свойственна такая грань усталости, когда становится всё равно и он просто не думает об опасности. Я нашёл большую копну сена, набрал его в чембур и на спине коня привёз под облюбованную сосну в расположении эскадрона. Залёг под этой сосной и, несмотря на весь грохот, задал крепкого храпака, а Сом стоял надо мной и жевал это сено.

Впереди, на другом берегу реки, лежало село, в котором, как донесла разведка, находились немцы. Командованием было решено то село взять. Наша «катюша» послала несколько снарядов, а мы в пешем строю пошли в наступление. Впрочем, этих выстрелов оказалось достаточно, чтобы немцы, если они и были, ушли. Вот тут-то мне впервые пришлось увидеть действие нашей ракетной артиллерии – всё, что находилось в радиусе обстрела и попадания, горело: горела земля, горело всё живое и недвижимое.

Убедившись, что впереди нет неприятеля, мы дождались коней и двинулись дальше. Ночь стояла лунная, видимость отличная. Мы сперва шли просёлочными дорогами, а потом мой взвод дозором был выслан в сторону большой дороги.

Не доезжая большака с полкилометра, мы увидели немецкую машину, крытую брезентом, которую решили было остановить, но она выскочила из-под нашего обстрела благополучно.

На тракте дождались, пока подтянутся остальные наши эскадроны, а потом колоннами двинулись вперёд. И так ехали всю ночь без приключений. Правда, перед рассветом послышался взрыв – сказали, что кто-то наехал на мину, то ли убило, то ли ранило, но движение продолжалось. Командование, видимо, всё ещё опасаясь оказаться в окончательном кольце, приказало не останавливаться нигде и днём, а двигаться вперёд – только более рассредоточенно, поэскадронно с большими интервалами.

Продолжительное время шли без препятствий, но сюрпризы на войне оказываются за любым «углом» – в полдень, когда мы поднимались по тракту на небольшую возвышенность, навстречу вышли и открыли огонь около десяти немецких танков. Колонна бросилась врассыпную, идущая далеко сзади артиллерия оказалась скованной – не стрелять же по своим.

Рядом пролегал глубокий овраг, куда и покатались многие бойцы, побросав лошадей. Скатился туда и я. Большинство лошадей разбежалось по степи, но мой Сом – умница! – сбежал следом за мной и остановился рядом. Между тем танки дальше продвигаться не стали, видимо, это была случайная группа, они так и

оставались на возвышенности. Чем мы и воспользовались: переловили почти всех лошадей и двинулись в обход по бездорожью, выходя на колхозный ток. Несколько выстрелов подтянувшихся пушек спугнули те танки.

А мы оставались на току до темноты, накапливая потихоньку всем составом полка. Здесь оказались командир полка Егоров, комиссар Куликов, наш командир эскадрона Рыжов. Перед тем как нас вовсе укрыла ночь, командиры распорядились всё лишнее, вплоть до скребниц и щёток, выбросить из сум, чтобы было легче лошадям.

Так мы и отходили с переменным успехом, теряя всё больше бойцов и лошадей. Где-то отстал и мой друг Шкуропат, сколько я ни высматривал его, увидеть так и не смог. Встретились мы с ним только после войны уже в Алма-Ате...

Начиналась оттепель, хотя ночи оставались морозными. Просушиться было негде и некогда. В одном селе, куда наша часть только вошла, оказалось до двадцати советских танков. Наше командование долго совещалось с танкистами, а мы стояли, ожидая приказа. Кто возле коня, кто, так и не спешившись, дремал прямо в седле. Луна светила холодно, пятная землю резкими тенями.

Наконец из хаты вышли командир с комиссаром и, остановившись недалеко, продолжали разговор меж собой: мол, путь перехвачен немцами, а впереди опять река за селом, что километрах в десяти. В том селе – тоже немцы. «Но иного пути нет...»

– Подготовиться к конной атаке, – передали по команде.

Нам предстояло взять с ходу село, за которым течёт болотистая река без брода, и нужно отбить мост. Почему не пустили вперёд танки, а уже следом кавалерию – было непонятно, видимо, были какие-то веские причины.

Впереди полка опять пошел наш четвёртый эскадрон, а дозором – мой четвёртый маленький взвод. Всё замеченное по сторонам передаётся старшему дозора по цепи, а уж я передавал дальше, в ядро колонны, где находилось командование. Когда наш дозор доехал до первой хаты, я вызвал из дома хозяина: «Есть ли немцы?» «Часа два, как ушли из села», – ответил тот. «Давай-ка, оденься – покажешь нам мост». Я посадил его на коня одного из бойцов и направил с двумя конниками галопом посмотреть, не взорван ли мост. Вернувшись, они сообщили, что мост в порядке и немцев на селе действительно нет.

Подъехал Егоров с комэском Рыжовым, которые нас вновь двинули вперёд, предупредив, чтобы опасались возможной засады.

Все наши части прошли через село и мост без каких-либо препятствий. Движемся по широкой дороге медленно, колонна и так растянулась на три-четыре километра: наш конный дозор, за ним части кавалерии, следом погромыхивают танки, потом опять конники и конный обоз разных частей. Какой дорогой пошла артиллерия и остальные наши соединения – неизвестно, связь потеряна. Поэтому мы больше всего теперь опасаемся встречи с танками, от которых прикрыться нечем. Самолёты ночью нам не угрожают.

Часа за три до рассвета километрах в двух слева по нашему ходу пошла параллельно сплошная двухметровая насыпь. Видно, перед войной по этой насыпи хотели провести железную дорогу. Из-за той насыпи видимость дальше влево значительно уменьшилась.

Крайний левый дозорный заметил за насыпью движение, когда сообщил мне – я тоже отметил: похоже было на кавчасть, двигались головы, будто

всадников, с соблюдением интервалов. Нужно было проверить, потому мы замешкались.

– В чём дело? – ко мне подъехали командир полка с комэском. – Почему топчетесь?..

Мы ехали на два с лишком километра впереди колонны, и Егоров с Рыжовым подскакали, увидев нашу задержку. При такой яркой луне было видно далеко, всё отдавало металлическим голубовато-жёлтым светом. Я указал в сторону насыпи.

– Там параллельно движение... похоже на кавалерию. Пока не установлено...

– По всему, должны быть из восьмого полка... Наша дивизия, с которой мы связь потеряли, – подумал вслух Рыжов, и комполка с ним согласился: «Проверить всё же не мешает».

– Ну-ка... – взгляд командира эскадрона упал на повара Копытина, кухня которого была давно разбита танковым снарядом, а он ездил теперь на своей пегой кобыле, возившей прежде нашу кашеварню. – Ну-ка, Копытин, смотайся туда, проверь, что там за войска.

Повар и есть повар – он проехал с километр и вернулся, докладывая, что никого на насыпь не обнаружил.

– «Не обнару-ужил!» – взорвался наш Рыжов. Ему, видно, было неловко перед комполка. – Чумичка пустодырая, как ты голову вместо кухни не потерял?! Я отсюда вижу, что там движется... Ну, подожди, образуется... Скуратов!

Наши подтянулись совсем близко к дозору. Танки медленно погромыхивали чуть сзади. Я поскакал к насыпи, полагая, что там уж никак не могут быть немцы. А когда я вбежал на ту насыпь и осадил коня, то увидел штук двадцать фашистских танков, а видимые нами головы «всадников» оказались автоматчиками на этих танках. Дурную шутку сыграла с нами луна!

И в этот момент наши танки ударили из пушек в сторону немецких. Противник же как шёл, так и развернулся, открывая огонь из пушек и пулеметов по нашей большой колонне. Выходит, пока я добежал до насыпи, танкисты, видно, через рацию, установили, что неизвестная колонна – немцы, и сразу открыли огонь.

Я оказался между двумя огнями, бежать назад не решился – или под свой недолёт попасть, или прошьют немцы из пулемёта, да и автоматчик мог выцелить. Потому соскочил с коня, сполз в углубление под насыпью, снял с плеч винтовку и жду, вжавшись в землю. Должны же танки пойти на сближение – тогда, думаю, дам дёру, если прежде не попадёт дурной чей-то снаряд. Руки мои свободны, курок взведён, повод успел на коня забросить – Сом дрожит, но стоит рядом, не убегает. Снаряды рвутся, осколки визжат, обидно – это ведь свои снаряды. Они или перелетают насыпь, или рвутся на ней. Куда падают немецкие снаряды, мне не видно, но зато видны нити трассирующих пуль, которые впереди, метров за триста, секут курай. Присел, а в голове мысли: уж коли суждено быть убитым, так лучше бы наповал, без ранения. И одновременно оглядываюсь: как бы из этого ада выскочить... Если пойдут всё же танки на сближение, то раздавят меня с моим «танком» четвероногим, как муху, – не чужие, так свои – где им разбираться в такой сумятице.

Решил выйти из зоны обстрела: сунулся вдоль насыпи в одну сторону, затем в другую, но фланги почему-то обстреливались немцами сильнее. И вдруг – небольшой перерыв в стрельбе, сначала с нашей стороны, потом с другой. И снова. Ну, думаю, ещё хоть маленький интервал уловить... И вправду, снова небольшая

вроде пауза. Вскочил на коня и галопом из-под носа немцев наутёк, до них и ста метров не было. Они не сразу очухались, а потом – очередь вдогон, да я взял левее и логом выскочил как раз на наш головной танк.

Возле него стоял капитан в шлемофоне и с погонями. (У нас погон еще не было, но о введении их в нашей армии мы уже знали прежде, мне ещё приходилось, как агитатору, разъяснять, зачем их снова вводили – помнилась статья в «Красной звезде» генерал-лейтенанта Игнатьева.) А я вот возьми и выскочи живой-невредимый!

– Из тебя и твоего коня, мы думали, – смеётся «золотопогонный» капитан, – давно отбивная получилась, а ты – ишь, живой, бляха-муха!..

Я огляделся, попросил у капитана закурить. Горели два наших танка, горело несколько танков немецких, взгляд не хотел останавливаться на убитых людях и лошадях. Однако, кроме танков и танкистов, теперь на дороге и близком поле никого не оставалось, а фашистские машины уходили за линию огня.

– А конница наша куда подалась, товарищ капитан? И обозы?

– Вот так, восточнее дороги. Следы сам видишь...

4

Я отъехал сперва шагом, потом перевёл Сому на рысь. Километра через три следы повели меня по пологому склону большого холма, а в это время в сторону наших танков летело не меньше десятка фашистских самолётов. Чёртова немчура, какая у них связь и организованность...

Ещё через пяток километров езды уже под уклон выехал на разбросанное по течению небольшой речушки украинское село. Каким-то нежилым показалось мне оно, словно призрачным: ни на улице, ни во дворах не виднелось ни одного человека, ни скотины, ни даже собак. Зашёл в одну хату – пусто, никого; завёл своего Сому в коровник рядом с хатой, там оказалось хорошее сено, а сам пошёл искать хозяев.

На мой зов вышла из погреба хозяйка. По её словам, ночью в селе шёл бой, а рано утром тоже много шума, топота конских ног, ржания и ругани – потому они всей семьей как залезли с вечера в тот погреб, так и не вылезали.

– А где же конница та остановилась? – спросил я, но женщина только руками развела: «Мабуть, ушли...»

– Так что-нибудь поесть найдете, хозяйка? Живот подвело...

Она принесла из того же погреба кринку молока и четверть краюхи хлеба и деликатно отвела глаза, пока я ел.

– Пусть уж конь постоит у вас в хлеву, я своих поищу по хатам – вдруг кто остался, – сказал я.

– Там ячмень пошукатьэ, в сенцах мешок, – ответила хозяйка и снова вернулась в погреб.

Я принёс ведро воды, напоил Сому, сходил с торбой за зерном и повесил ему, чтобы жевал пока.

В пятом или шестом дворе я увидел наших лошадей, а в хате – шестерых бойцов нашего эскадрона и среди них младшего лейтенанта Воротникова, поллитрука эскадрона.

– О, лёгок на помин! – встретили они меня. – А мы уж поминали тебя, Скуратов, ни за что, мол, пропал... А ты – вот он, выскочил-таки, счастливчик!

Потом судили-рядили, как же быть. Я сказал, что с холма, через который ехал, видел, как по шоссе и параллельным просёлкам продолжают двигаться наши разрозненными частями. «Пока не нарвались на немца, надо уходить следом, там к кому-нибудь присоединимся...» «Да, мелкими отрядами сейчас вернее – с самолёта, может, тратиться не станет», – согласились со мной. «Военный совет» закончился, а командира выбирать нужды не было – теперь есть с нами заместитель комэска Воротников, ему и карты в руки. Через полчаса мы двинулись почти в ту сторону, откуда только бежали. Ехали сперва бездорожьем, потом нашли просёлочек, ведущий в ту сторону, где, как сориентировался лейтенант, должны быть наши. Однако, миновав станцию Лозовую, увидели налёт авиации и решили до темноты где-нибудь затаиться.

Западнее станции пересекли полотно железной дороги, вскоре остановились в усадьбе какого-то подсобного хозяйства, здесь и сено оказалось – лошадей поставили в конюшню. Потом зашли в дом, там сидело несколько человек из местных жителей. Угостили они нас чаем и хлебом с солёными огурцами. Воротников же на каждого из нас разбросал карты, колоду которых достал чуть ли не из голенища. С этими картами у него ловко получалось и складно говорилось, а вот в других, военных, видно, не так сильно разбирался. Только мне он предсказал впереди очень много переживаний и неприятностей, на что я отмахнулся: «Сейчас у всех неприятности!»

С темнотой мы двинулись дальше. Отъехав километров двадцать пять, лейтенант заявляет, причём взглянув при спичках на карту: «Ну вот, друзья мои, из зоны мы вышли, в которой неприятель прорвался!» Как он это понял, мы не спросили.

– Это я к тому говорю, – продолжал он, – что гарантирую спокойный ночлег до утра – сейчас село впереди. А завтра мы попадём к Северному (Северский) Донцу, где нашими занята оборона...

Это была роковая остановка, которая и погубила почти всех. Но для переутомлённых, издёрганых неизвестностью и напряжением бойцов, едва сидевших в сёдлах, команда об отдыхе, да ещё и с радостной перспективой безопасности, была как награда.

Мы спокойно расположились на ночёвку, даже охрану не выставили. А когда с восходом солнца пробудились и выехали за село, то по множественным конским следам на дороге увидели, что наш полк прошёл это место ночью, пока мы беспечно отсыпались.

Вся местность вокруг была безлесная – плавно-холмистое плоскогорье, далеко просматриваемое. Мы увидели, как разными дорогами, а то и вовсе без дорог движутся наши нестроевые части – разные хозяйственные и штабные обозы, пехота мелкими группами и поодиночке даже. Вся эта неорганизованная масса представляла заманчивую мишень для пролетающих низко самолётов. Такая же участь теперь ждала и нас. Кроме того, оказалось, что фашистские танковые части вышли вперёд и заняли по основным дорогам возвышенности для обзора и расстрела движущихся им теперь навстречу наших разрозненных и обескровленных частей.

Теперь приходилось всё чаще сворачивать с дороги, даже и просёлочной, ехать или идти по снегу, которого, чем дальше на северо-восток мы уходили, становилось больше. И искать скрытые места уже не в сёлах, а в стороне, в лучшем случае – на колхозных токах, а чаще просто в лощинах и балках...

Однажды, подъехав к одному такому гумну, увидели мы на току пару лошадей, запряжённых в большую кошёвку. В корню был высокорослый конь, впряжённый в оглобли под дугу, а пристяжная мелкая, рыжей масти. Это был иноходец штаба полка, обоих коней я знал ещё с Западного фронта – болячка конника помнить всех примечательных лошадей. В санях ехали трое: ездовой, писарь полка и третьим оказался раненный в ногу капитан Болыбин, помощник командира полка по хозяйству. Он лежал, потому что ногу ему разнесло основательно – капитан оказывается, нарвался на мину ночью на марше полка перед боем наших с немецкими танками.

С одной стороны, этой встречей мы были обрадованы – не чужих встретили, нашего полку, как говорится, прибыло. Но это пополнение связало нас по рукам и ногам. Опасаясь встреч с врагом, мы могли ехать только по бездорожью, где часто встречались теперь заносы. Конечно же, для пароконной упряжки, тем более с раненым, каждый сугроб, глубокая лощина, овраг или крутые спуски становились препятствием, хотя для нас они сложностей не представляли. Движение ночью ещё больше замедлилось, а луна уже ушла в новолуние, тьма наливалась непроглядная.

Мы чаще стали ошибаться, сбиваться с пути, блуждать и порой просто крутиться на одном месте. Как-то после двухсуточного отхода мы перед рассветом подошли к колхозному току и к заскирдованной что-то уж больно знакомо соломе. И узнали собственные следы, даже свои же окурки, а после и небольшое село на другом берегу речки – это село мы уже просматривали отсюда... До села было метров триста.

Теперь, убедившись в бесполезном хождении, капитан Болыбин попросил узнать, нельзя ли его оставить в селе – рана беспокоила всё сильнее, а у нас и бинтов-то не осталось.

Двух бойцов послали в село договориться с жителями укрыть раненого офицера. Ребята вернулись вскоре с вестью, что нашли желающих принять раненого.

В той же кошёвке мы повезли капитана, и все остальные пошли тоже, чтобы хоть немного подкрепиться на дорогу. Положили его в хате, посидели чуток, хозяйка ходила к соседям и принесла хлеба несколько караваев. Потом четверо из нас решили сразу идти на ток, где оставались кони. «Мы догоним...» – сказал командир нашего маленького отряда Воротников. С ним замешкались ещё трое из эскадрона, и писарчук о чем-то договаривал с Болыбиным.

И на полдороге к току мы – я и ещё трое бойцов – оказались на открытом месте, а навстречу двигались немецкие танки. Мы дёрнулись было назад, но и оттуда вывернулся вдруг танк, следом за ним из-за угла дома показалась пушка второго. В то же время с ближних танков прыгнули несколько автоматчиков и прошли несколькими очередями воздух. Никого из нас не задело – стрельнули для испуга, знаками показывая команду поднять руки. Что нам оставалось делать?..

5

С этого момента для меня, как и для многих других, на протяжении целой вечности началась борьба за выживание. Вопреки всему, что должно было нас сломить и уничтожить медленной смертью раба. Но сама жизнь – это уже достоинство, если ты ею не торгуешь, но отстаиваешь данными тебе природой возможностями. И это в самом деле длится вечность – потому что и время теперь

пойдёт, видимо, иными измерениями: жизнь может оборваться в любую минуту; и ты проживаешь её, эту минуту, быть может, в последний раз...

Это надо испытать, чтобы понять до конца. Не думаю, что это можно представить. И всё же рассказывать – необходимо. Ибо человек должен знать, чего ему бояться в себе. Ему нужно бояться стремления подавить, покорить, подчинить себе подобного, брата своего... Да, знать, что унижение ближнего своего неминуемо оборачивается пустотой души собственной и собственной же гибелью в униженности.

...После небрежного обыска нас посадили в крытую машину, где уже сидело несколько таких же бедолаг, и под конвоем отвезли не очень далеко – и получаса не проехали. В каком-то селе нас сдали другой команде, поместив в крытый холодный сарай, куда беспрерывно продолжало поступать «пополнение». А утром собранных триста-четырееста человек – вчерашних бойцов разных частей, поставленных под удар непродуманным прорывом, под усиленной охраной отвели до города Павлограда, где погрузили в поезд и отвезли в Днепропетровск.

По мере продвижения количество пленных всё увеличивалось.

В Днепропетровск я попал лишь на шестые сутки, за все эти дни и ночи, что гнали нас до станции, пищи мы не получали – надо только представить себе эту голодную, изнурённую толпу, идущую в неизвестность. Пешим порядком нас гнали только в течение светового дня, а на ночь загоняли в любое помещение, лишь бы у него были крепкие стены. Зачастую загон был так плотен, что мы могли ночью только стоять или сидеть на том месте, где стояли...

Иногда местное население в сёлах, через которые проходила колонна, бросали нам кругляши жмыха или хлеба, но от этого не становилось легче: кусок попадал в руки одного человека, изголодавшегося и в голодном ослеплении не желающего делиться, возникали драки и свалки. Конвой же, не разбираясь, «наводил порядок» просто – стрелял в толпу. Убитые и тяжело раненые оставались на дороге... Попытки же организованной помощи на отдельных стоянках конвой тоже пресекал, отгоняя даже детей.

В один ночлег нас разместили в небольшой двухэтажной школе, здесь на полу были насыпаны слоём семена подсолнечника, может быть, их готовили к севу. Этих семечек мы все так нащёлкались, что многих начало тошнить. И конечно, пришла жажда, а воды не было. Когда наутро нас погнали дальше, то в дополнение к голоду, который вовсе не прошёл от этого птичьего корма, нас обуяла «подсолнечная» жажда – едва стоило увидеть на растоптанной дороге смешанную с навозом лужу, как мы старались приложиться к ней любым способом, несмотря на угрозу быть пристреленным. Хуже всего приходилось раненым, которых среди нас оказалось немало.

Со станции в Днепропетровске нас доставили в местную тюрьму. Её окружала стена не менее пяти метров, поверху которой шла колючая проволока под напряжением; сюда согнали десятки тысяч военнопленных. В длинный коридор выходили камеры, размером не больше двадцати пяти квадратных метров – в них набивали людей так плотно, что лежать можно было только «валетом» или боком. Вначале на цементный пол была настелена солома. Во двор нас не выпускали, а разрешали в определённое время двигаться по коридору, к вечеру загоняя в камеры, закрываемые на засовы и замки. Посреди камеры помещалась параша – можно представить себе грязь и вонь, стоявшие здесь. Через неделю

солома на полу ожила из-за расплодившихся вшей. Начался тиф. Усугублялся он ещё и простудами, осложнениями: солому сожгли, а спать приходилось на голом цементе. Многие корпуса объявили карантинными, и теперь мы безвыходно находились только в своих камерах.

В таких условиях мы прожили, если это можно назвать жизнью, половину марта, апрель и начало мая. Не менее половины наших товарищей погибло, хотя количество людей в камерах не уменьшалось – за счет поступления тифознобольных из других корпусов. И лишь в мае немцы, видимо, опасаясь распространения тифа на их грабармию, приняли меры для поголовной дезинфекции. Начали выводить живых и ещё способных ходить на прогулки во двор тюрьмы...

После снятия карантина режим установился более сносным, ходили даже слухи, что поступил какой-то приказ по улучшению условий для военнопленных. Мы могли днём свободно ходить по двору и даже по желанию пойти в местную баню. Однако баланда оставалась всё такой же несъедобной, да и её не доставало, чтобы поддержать силы. Хотя большинство за пределы лагеря не выходило, однако были отдельные команды, которые гоняли в город на работы. Через них мы смогли обменять часть своей одежды на продукты: я отдал шинель и гимнастёрку за несколько кусков хлеба и шмат сала, чтобы хоть как-то поддержать силы. Приходилось приноравливаться к условиям, которых никогда не предполагал.

Однажды, немного спустя после чутошного облегчения наших условий – оно и «улучшением»-то выглядело в сравнении с тем смертным ужасом, что переживали среди агонизирующих больных, – немецкое командование выстроило нас по корпусам и объявило, чтобы все донские, кубанские, терские и все другие русские казаки вышли из строя и построились отдельно. Выходили. Я не ждал от этого ничего хорошего и потому не сказался казаком, хоть и принадлежал одним боком. Но – выходили, человек триста в тюрьме таких нашлось. Их поместили в отдельном корпусе, а затем и вовсе вывели с территории лагеря.

Оказалось, как я и предположил про себя сразу, это был приём по вербовке из среды красноармейцев будущих – вольных и невольных – «спасителей, освободителей родины» в так называемую РОА (русскую освободительную армию).

С июля сорок третьего фашисты начали эшелонами отправлять военнопленных в Германию. Попал в эту «рабразвёрстку» и я. Под усиленным конвоем с собаками нас довели до вагонов товарняка с зарешёченными окнами. Приказывали разуться и раздеться до белья, всю одежду сложить в тамбуре и вталкивали нас в «телятник» с парашей и двухрядными нарами, улечься на которые можно было только впритирку. При этом личные документы, фотографии, письма немцы предложили держать при себе, их содержание не проверяли.

Двери вагонов закрывались и пломбировались снаружи, в тамбуре постоянно находился часовой. На паровозе и хвостовом вагоне стояло по пулемёту, конвойная команда следовала в переднем и хвостовом вагонах. В общем-то, охрана и вооружение для такого дальнего пути представлялась незначительной, и мы весь путь от Днепропетровска до границ Польши не теряли надежду на освобождение нас партизанами. Однако этого не произошло, а может быть, в то время и не входило в планы акций освобождение военнопленных вообще.

Считалось, что нам выдали сухого пайка на три дня, но его едва хватило утолить голод в первый же день. До станции Шепетовка нас везли около пяти

дней, ни разу даже не открыв вагонов. В Шепетовке же нас высадили, заставили одеться и под многочисленной охраной привели в местный концлагерь. Здесь мы вновь увиделись с «нашими доблестными донскими, кубанскими, терскими... русскими казаками», которые отделились в Днепропетровске. Теперь они стояли по обеим сторонам дороги в пешем строю с оружием и следили за нами до самой территории нового лагеря...

Впрочем, здесь мы пробыли всего два дня: нас проинвентаризировали, пронумеровали, выдали металлические жетоны – я и ныне сохраняю его, чёрной памяти номер: STALAG VIII-C № 79365. Сменили всю одежду вплоть до белья и вновь под бдительным конвоем затолкали в вагоны. Путь лежал через Польшу – в Германию...

Высадили нас в городе Сагане. В местном концлагере находились сотни тысяч военнопленных всех воюющих против фашистов государств – англичане, французы, бельгийцы, голландцы, югославы и другие. В том числе и советские, которые размещались в отдельных бараках и которым общение с иными иностранными военнопленными категорически запрещалось – под угрозой смерти на месте.

Немецкие лагеря для военнопленных имели два профиля и, соответственно, назначения. Первый – так называемый «шталаг», здесь концентрированно содержалось большое количество военнопленных разных противоборствующих фашистской Германии держав. В концентрационном лагере большинство не работают или заняты на внутрилагерных работах. Второй лагерь – это рабочие команды, скомплектованные из военнопленных одного государства с учетом их возраста, здоровья, специальностей и прочего. Количество таких команд в рабочем лагере зависит от профиля, объёма работы и расположения объекта, на котором производятся работы.

В первых, массовых, концлагерях ежесуточный рацион составлял двухкилограммовую булку суррогатного хлеба, которую делили на семь человек. И каждому баланды – супа со столовой свёклой, шпинатом и прочей травой, – да по пятьсот граммов бракованного сыра или маргарина. Суррогатный кофе отпускался неограниченно. В рабочих лагерях этот рацион увеличивался вдвое.

Надо отметить, что лагеря, в которых мне пришлось побывать, не были «лагерями смерти», о тех ужасах мы слышали только краем уха, но и в наших «образцовых» шталагах установленный режим означал длительный полуголодный мор советских военнопленных, рассчитанный на медленное их вымирание... И сколько раз поминал я здесь того Воротникова, что нагадал мне на картах «неприятности»! Не знаю, что уж он там себе выгадал, пусть живёт долго, но мне судьба-индейка опять дала подножку – «мол, выживешь ли?». Но разум приказывал телу – живи, там видно будет..

Месяца через полтора из вновь прибывших принялись формировать рабочие команды. Распределяли по возрастам, здоровью. Более молодых и крепких назначали для подземных работ, в шахты. Я попал в число тех, кто направлялся на строительство, в основном рытьё котлованов, фундаментов. Рабочую команду человек в восемьсот посадили в поезд и привезли в небольшой городок, где за высоким проволочным ограждением находилось большое и несуразное сооружение, похожее на мельничное здание. Его, чтобы полнее использовать, с помощью брёвен и досок наскоро перестроили, создав видимость двух этажей с

отдельными лестничными подъёмами на каждый ярус. В каждом таком «этаже» соорудили двухъярусные нары, где место определялось соломенным матрацем и единственным суконным одеялом. Потолка у здания не было, через дырявую старую крышу свободно протекала снеговая вода и дождь. Отопления тоже не было. Отапливались лишь кухня, туалеты и умывальники, которые находились во дворе нашей казармы, впрочем, отапливались паром по трубам – только чтобы не замерзала вода.

Намеренно или случайно, объекты находились далеко от лагеря, километрах в сорока. В пять утра, независимо от погоды, нас выстраивали во дворе по командам. Затем больше часа под конвоем шли до железной дороги, наматывая по суглинистой дороге почву на свою эрзац-обувь с деревянными подошвами и неся в термосах свой травяной завтрак. В каждый вагон наталкивалось нас до сотни, так, стоя, доезжали до выгрузки, а потом – снова – километров пять пешими на участок. Хорошей, ясной и сухой погоды почему-то в Германии совсем мало, почти всегда стояла морось.

Получив свои пол-литра супа, приступаем к работе, которая для здорового накормленного человека не была бы тяжёлой, но для истощённого замордованного раба, да ещё после этих «исходов-переходов», она становилась гибелью.

Пока военнопленный, хоть и слабый, ковыряется в одиночку с лопатой, шевелится и выполняет какую-то норму – немцы на него не обращают внимания. Но горе истощённому человеку, уже не имеющему сил хотя бы изображать усилие. Конвойные или мастер, которому несчастный попался на глаза, начинали с утра бить чем попало – прикладом, штыком, лопатой, палкой. «Пауль-пауль!» – «Лентяй», – приговаривали они, втягивая в избиение почти каждого из солдат, видимо, чтобы утвердить своё единодушие и объединить в круговой поруке. Слабому много не надо – к вечеру одного-другого из команды забивали насмерть... Оставлять мертвеца не разрешалось, и мы попеременно доносили труп до вагона, а потом и до лагеря, где хоронили в отведённом месте. Ежедневно.

И если с утра на работу паровоз подавался чётко, то – словно чтобы вымотать уж нас до конца – на обратный путь паровоз подать не торопились. Так что часто нам приходилось часа по два впритирку стоять в вагонах, даже присесть места уже не было. Здесь само собой, без приключений не обходилось. А значит – и без жертв: кто-то не вытерпел, вздумал сесть, на кого-то наступили, кому-то ушибли ногу – поднимался шум, драка. Конвой лаял предупреждение, а затем стрелял прямо по вагону. Опять жертвы, кто-то убит или ранен, и это не всегда предостерегает живых в других вагонах... Человек в толпе – штука, не более.

Наконец подаётся паровоз, в тёмной сутолоке доезжаем до «своей» остановки, но ещё пять километров плетёмся под дождём или снегом. В ночи не разберёшь – где конвой, где пленные, но не дай бог отстать или отойти в сторону – в лучшем случае получишь прикладом, штык сгонит с тебя сонную одурь. Но вот видится свет фонаря, слышатся команды, теперь уже вваливаемся во двор своего стойбища. «Наконец, дома!» – бормочет кто-то. Дома...

И построение, и пересчёт, и неразбериха – кто-то перепутал место, кто-то забыл свой шестизначный номер, в одной команде не хватает, в другой лишние. Конвой торопится, ищет виновных, удары достаются невинным, а потерявшийся еле стоит и спит на ногах. И уже сами пленные ищут вместе с конвоем, сводят концы с концами.

С ходу получаешь вторые пол-литра травяного супа, с ходу отправляешь в голодный свой желудок. Следом вдоль рядов едет раздача суточного пайка: хлеба, маргарина и суррогатного кофе. Тогда открывается базар: кто где-то достал картофельной лушпайки, а тот и котелок картофелин раздобыл – начиналась мена. За котелок картошки или очистков отдавали триста граммов хлеба или порцию маргарина – здесь чаще решал объём, а не содержание. Весь суточный паёк съедлся сразу, оставляя рискованно, а в желудке полная гарантия сохранности.

В холодном помещении не разденешься – сохранить бы малость собственного тепла. И вновь рано утром почти бредовый подъём криками, уколom штыка, тычком приклада – быстрее, быстрее, русишен швайне, пауль швайне...

Так – больше трёх месяцев, теряя увечными, ушибленными, пристреленными половину всей массы земляков, хотя численность команд по-прежнему сохранялась, – фронты, как гулящие бабы, выкидывали новых бедолаг-пленных.

В начале января сорок четвёртого в нашу рабочую команду приехали какие-то немецкие чины и с ними русский офицер из РОА, назвавшийся подполковником Соколовым. Вечером администрация лагеря собрала всех военнопленных в нижнем этаже, где тусклые лампочки обесцвечивали лица и не очень рассеивали тени в закутках. Этот сбор объявили «производственным совещанием», и посланник РОА целую речь нам закатил, которую под конец, пользуясь слабым освещением, со всех сторон начали перебивать репликами.

– ...Вы должны хорошо работать... для себя же, – убеждал нас тот «подполковник» Соколов. – Ведь только немецкая армия может помочь вам вернуться на родину! Только их победа вернёт вам человеческий облик и права – сейчас даже международный Красный Крест вынужден отказывать в помощи русским военнопленным, да, да – вынужден! – потому что ваше правительство отказалось от взносов. Вспомните, кто вы сейчас у себя дома: я напому вам о приказе двести двадцать седьмом от двадцать восьмого июля сорок второго года. Все вы, попавшие в плен даже ранеными, считаетесь теперь изменниками и будете расстреляны или сосланы в Сибирь...

– Не успеем – здесь передохнем!..

– Союзничков себе нашел, гад! Становись к нам – погоняют тебя твои союзнички...

– Недолго бы он старался для их победы на баланде нашей!

– Ты лучше расскажи, где сейчас вам хвост прищемили?!

– Наших бы вшей ему в помощь подбросить. В Сибири хоть среди своих погрём...

Пользуясь полумраком и скрываясь за спинами, несколько храбрецов даже короткие речи сказать успели. Короче, сорвали их «производственное совещание». Что уж хотели немцы от него – непонятно, только вдруг через неделю наш злополучный лагерь был закрыт. А нас, оставшихся, перевезли в автомашинах в другой рабочий лагерь в Вальденбурге (Бреслау).

Здесь распределили по одноэтажным баракам, где проходило трубное паровое отопление, двухрядные кровати, в отдельном помещении – душ с горячей водой. Два дня, освобожденные от работы, мы очищались от многомесячной грязи и вшей. И работа поначалу оказалась легче, недалеко от лагеря: рыли ров для прокладки телефонного кабеля на территории концерна «И. Г. Фарбениндустри». В плохую погоду во многих местах рва удавалось разводить костёр, порой можно

было и посидеть украдкой – это кому повезёт на конвой и мастеров, иногда закрывавших глаза.

Но кормили так же плохо, к немецким рабочим столовым и близко не подпускали, так что мы только издали могли видеть большие бочки с отходами для свиней да ловить запахи... И всё же почти три месяца, пока шла укладка кабеля, можно было экономить силы, двигаясь поменьше, ковыряясь иногда просто для блезиру. Но потом нас перевели на другой участок.

Теперь возили поездом, потом пешим порядком – на разработку карьера, от которого вначале уложили узкоколейку для перевозки в вагонетках мелкого камня и дресвы. Туда – назад, полные – пустые, «шнель-шнель, поворачивайся»... До сентября, что я оставался в том лагере, силы многих не выдерживали. Если вагонетка сходила с рельс, на виновного сыпались удары, а поставить её назад, разгрузив полностью, можно было только с помощью товарищей. Теперь и мне, прежде избегавшему побоев благодаря закалке в труде с детства, стало перепадать всё больше пинков и подзатыльников, а силы убывали.

Нужно было искать выход или погибать – на меня уже взъялся старший мастер, всё с большим трудом поднимался я от очередного удара и сознавал, что конец может прийти в любой день. Оставалось рискнуть и пойти хоть на умышленное увечье – лишь бы списали из рабочей команды и отправили в шталаг, отсрочить немного, а там будет видно. После всех мытарств просто так вот лечь и помереть в пинках – на такое согласиться я не мог при всей слабости. Не дамся, нет – тогда не стоило терпеть муки эти полтора года плена, лелеять надежду, прислушиваясь к слухам о победах нашей армии.

6

Среди нас был молодой врач Иван Иванович Медведчик. Хоть и было ему не больше двадцати семи лет, но все называли его именно по отчеству, потому что врач наш делал всё, чтобы выходить и спасти больных, поддержать и даже подкормить слабых. Часто даже с риском для собственной жизни. В плен он попал ещё в тяжком сорок первом при сдаче Одессы. Вот уж с кем жизнь обошлась круче некуда, хотя он только и жил, сначала учась, по всему, успешно, а потом всеми силами и природным умением помогая другим. Доктор! О нём мне ещё придётся вспоминать до конца жизни с благодарностью, как и о его возвращении – с болью.

Всё обслуживание нас, русских военнопленных, лежало в рабочем лагере Вальденбурга на Медведчике, однако без права освобождения нас от работы по болезни, даже и по увечью. Освобождал от работы, как и списывал из рабочей команды, только немецкий гарнизонный врач.

Предвидя свой конец от изнурения и всё чаще выпадающих мне тычков, я стал просить Ивана Ивановича помочь мне списаться отсюда. Гарнизонный врач помещался со своей приемной в центре Вальденбурга, в пяти-шести километрах от наших барачков. Туда нас, несколько больных, обессиленных и покалеченных, пешими повели под конвоем в сопровождении нашего русского врача, который в дороге перебежал от одного самого слабого к другому, поддерживая и ободряя. Он же меня и научил заранее, что говорить немцу.

Но сперва там выслушивал и составлял историю болезни тоже наш врач из военнопленных, которого я попросил сказать немцу, что у меня больные лёгкие.

Так он и передал толстяку-гарнизонному – чуть ли не быстротечная чахотка. «Парфлюк-парфлюк», – заругался фашист, отдуваясь и почти не глядя на меня, махнул рукой – в шталаг. Что и требовалось нам с Иван Ивановичем. Здесь же выписано было направление в Гёрлицкий концлагерь. С помощью Медведчика доковылял я обратно до наших барачков.

– Не знаю, выиграли мы или проиграли, – говорил мне он по пути. – Ведь с питанием там ещё хуже. Помрёшь в шталаге попросту от истощения... Впрочем поглядим, ты духом-то заранее не падай: в Гёрлицком лазарете у меня хороший товарищ, тоже врач. Я ему напишу с тобой, чтобы не дал голодной смертью кончиться. Держись!..

Поскольку я был списан, то вместе с другими такими же освобожденными от работы в ожидании партии доходяг. Почти неделю можно прохлаждаться в бараке, получая тот же паёк. А здесь и того больше повезло: на кухню привезли несколько пароконных бричек картофеля, и пять-шесть больных покрепче повели на кухню разгружать и ссыпать картофель в подвал.

Работа не так уж тяжёлая, но главное – оказалась доходной. Потихоньку набивали картошку за пазуху и в забранные опорками штанины. Конвой это видит – а люди ведь везде разные и пёстрые, всё равно не подгонишь под одну гребёнку – вот конвойные и покрикивают: мол, марш в свои дома, клячи, отдохните уж немного. Разгрузимся мы там скоренько да опять за работу, снова себя не забывая... Так раза три-четыре нас и сгоняли – открыто дать нам картошки солдаты, видно, своих же опасались. А всё же ненадолго мы оказались и «богачами» – по ведру у каждого! Началось для немногих счастливцев в полном смысле объединение: картошку тонкими ломтиками пекли на обогревательных трубах, варили «в мундирах» паром. Часть же удалось обменять на маргарин, а это уже была значительная поддержка истощённому человеку.

Рабочим командам начислялась немцами «зарплата» марками, которые не имели ценности – эти фиктивные деньги были в ходу только среди заключённых. В рабочих командах купить на них тоже нечего было, а в крупных концлагерях на эти марки на русском базаре можно было купить баланду, иностранную шинель, френч, брюки и прочее по мелочи. Поэтому тем, кто списывался из рабочих команд в шталаг, товарищи по несчастью собирали часть своих «денег». У меня оказалось марок пятьдесят, а в кармане записка нашего Ивана Ивановича к русскому доктору в Гёрлицком лагере. Отправили нашу группу поездом с одним конвоиром.

...Концлагерь в Гёрлице был построен сразу по приходу фашистов к власти в Германии и занимал не меньше десяти гектаров. Немало для страны, где каждый клочок обрабатывается и на учёте!.. А сколько их было по всей Германии?.. И в них содержались рабы двадцатого века. Поначалу в этих лагерях заключались свои, немецкие, политические – социалисты, коммунисты, профсоюзники и «рот-фронтовцы». Нацисты избавлялись от «внутренних врагов» «Третьего рейха». Сплошные корпуса-барачки окружались капитальной кирпичной стеной, на которой густо располагались вышки с пулемётами и часовыми. Да ещё по всему периметру наружных стен проходила колючая проволока с пропущенным по ней током. Лай множества сторожевых собак был будто природным. Не менее ста тысяч военнопленных всех государств Европы томились здесь постоянно.

Прибывали – убывали. Прибывали – убывали: в другие лагеря, в рабочие команды, в шахты, на заводы, фермы, и – на кладбище, на кладбище, на кладбище. Иного конца фашистами не подразумевалось даже и для немцев...

Советские же военнопленные занимали отделённые от корпусов других иностранцев бараки на южной стороне, вдоль проволочной стены круглосуточно ходили часовые – общение русских с другими и здесь запрещалось категорически.

На второй день я зашёл в лазарет и нашёл друга нашего Ивана Медведчика. Прочитав его записку, лазаретный доктор сказал, что определит меня санитаром, а за счёт отказа от пищи тяжелобольных и умирающих я здесь смогу и подкормиться.

Здесь же в лагере я столкнулся с товарищем, временно списанным из-за перелома ноги из нашей команды ещё месяца два назад. Николай (а может быть, у него настоящим было другое имя – правильных имён мы зачастую не знали, все различались по номерам) был, кажется, карел или финн, он обрадовался мне – знакомые. А мне товарищ показался опухшим.

– Что с тобой? – сказал я ему.

– Да нет, – засмеялся Николай моему «диагнозу». – Не «опухший» – поправился.

– Это каким же образом? Здесь-то?

– А я в заграницу пикирую, вот и перепадает...

– За какую ещё «границу»? И что это – «пикируешь»? – спросил я.

– Риск, конечно... а как иначе проживёшь? Ну-у, к иностранным военнопленным пробираемся, кто умеет. Они нашему брату помогают, как могут – продуктами, в основном баландой, она у них остаётся, картошкой, кусками хлеба. И сигареты дают. Они-то посылки получают, даже почту! И Красный Крест им продукты посылает... Их-то родина не прокляла!..

– Ты меня, Коля, тоже научи! Лучше так пусть подстрелят, чем опять с голоду пухнуть... совсем уже сил нет... А насчет родины... ты её с государями не путай, на горечь да зависть не траться, дома ждут нас...

– А как у тебя с марками? Сколько?

– Идём! – сказал он, когда я показал свою наличность. – Одеться надо прежде всего!

На мне была наша солдатская шинель, брюки полосатые, видные издалека. Мы здесь же и пошли на внутрिलाгерный базар, где марок за сорок сторговали французскую шинель, френч с брюками и югославскую пилотку. Чего-чего, а готового солдатского обмундирования немцы по европейским интендантствам захватили достаточно: даже военнопленные ни в верхней, ни в нижней одежде не имели недостатка. Так что маскировку мы с Николаем завершили успешно, и он посвятил меня в хитрости «пикирования».

Кухня располагалась на территории иностранцев. С утра порожние «кибели»-бочки относили на эту кухню, а к обеду их наполняли баландой и приносили к нам. Бочек много – штук двести, поэтому конвоиры заставляют пленных собираться вместе у ворот, чтобы эту выстроенную команду отвести на кухню и затем назад, на «русскую» территорию. Назавтра я с моим наставником уже были у ворот среди этой команды. Собирается заключённых всегда в два раза больше, чем нужно, поэтому приходится не зевать – у многих та же задача, «спикировать за границу».

Конвоиры стараются отогнать часть «добровольных командировочных», в одну пустую бочку вцепляются два, а то и три пленных. И многие всё же проходят, проскочил и я с пустым кибелем. Смотрю в оба: вот некоторые из товарищей, пользуясь моментом, когда конвоир отвлёкся, бросают бочки и разбегаются к иностранным баракам. Выбрав момент, следуя их примеру, и сам вильнул, метров через сто вбежал в первый же барак. «Гутен морген», – поздоровался, сел на скамью отдышаться – смотрю, куда же и к кому попал.

Близко иностранцев я и вообще впервые видел, по форме понял, что французы. Подходят они ко мне, смотрят, качают головой, переговариваются – и немудрено, ходячий труп в гости пришёл, кожа до кости... И... отходят, никто мне ничего не предлагает. Думаю, неужели не понимают, что голодный, го-лод-ный я!.. И собираюсь уходить, не кланчить же.

– Setzen, meine Kameraden... alle... kommen... essen, – говорит здесь мне один из французов.

Немного погодя его товарищ пришёл – они вместе столовались, и ключ от ящика с продуктами был у него. Складывая отдельные немецкие слова, объяснил я, что долго был на немецких работах, слава, мол, богу, что хоть таким в живых пока остался...

Выложили они на стол варёный картофель, сыр, хлеб, принесли фашистского кофе, усадили меня и начали угощать. Здесь и другие французы стали подходить к нашему столу – кто несколько картошек, кто кусок сыра, хлеба, а кто и пачку сигарет подаёт. Конечно же, не стал я объяснять, что так и не научился курить всерьёз: всё складываю в противогазную сумку, которую мне раздобыл Николай.

– Данке, – говорю. – Данке, данке шён... мерси, камрады!

К вечерней проверке нужно любым путём вернуться в свой барак. Как-то трое наших по какой-то причине не смогли попасть назад и остались на ночь. А когда немецкий патрульный обход обнаружил их в уборной, то фашисты, выведя ребят, предложили им бежать в сторону ворот у кухни. И дали очередь из автоматов...

Для возврата было в основном два пути. Вечером под конвоем группа пленных приходит уже за ужином. Но присоединиться к ним у кухни могут незаметно только немногие: в группе носильщиков кибелей охотников обычно больше, чем надо, – ведь те, кто приносит на себе бочки с баландой, получают на черпак супа больше.

Другой путь – пристроиться к небольшим рабочим командам нашего лагеря, возвращающимся вечером. Здесь легче затеряться, этот путь вернее, но и есть постоянная угроза получить от конвойного удар прикладом, да ещё и передаст он тебя в комендатуру. А там уж добра не жди, в лучшем случае получишь десять дней карцера, где в сутки дают двести граммов воды и сто – хлеба... А «пикировщиков» ежедневно прорывается до сотни человек, а то и больше...

Первый день моей «заграничной пикировки», что говорить, оказался удачным. Теперь я сказал себе – ничего, можно попробовать прожить дальше. С набитым до отказа пузом и противогазной сумкой я поджидал возврата рабочих команд, которые после прохода в основные ворота должны пройти ещё одни, внутренние, в русский лагерь, здесь-то и надо ловить момент.

Едва колонна начала проходить, гляжу – то один, а то и по несколько выскакивают из своих укрытий пикировщики. Конвойные подбегают с руганью, прикладами кого-то отгоняют от команды, а кто и проскакивает, отогнанные

стараятся обезжать, чтобы ещё попытку сделать, иначе возникает угроза остаться у иностранцев и попасть в комендатуру, а то и хуже...

Подбегаю и я, вижу – конвойный уже примеряется. А у меня пачка сигарет в руке, я эту пачку ему в карман сунул, другой рукой ещё пачку достал из сумки. Потом-то я понял, что это уже перебор, – лишняя щедрость тоже ни к чему, с первого перепугу она: у немецких солдат тоже большая нужда в куреве была. Конвойный прикладом развернул меня и пхнул так, что влетаю прямо в строй. Что и требовалось. Иду теперь на равных через ворота, а потом и в свой барак.

После возврата с такой добычей к пайковой своей баланде я уж не прикасался, отдавал товарищам по койке, бараку. Часть курева тоже, но хоть пачку да держал теперь про запас – позже порой её хватало, чтобы просто отдать часовому у внутренних ворот, а тот отвернётся, пока ты проскальзываешь к иностранцам.

Чем больше проходило дней, тем больше открывал я для себя способов «пикировки». Если не через кухню, то лазейка открывалась баней – она находилась на смежной территории за нашими воротами, и туда ежедневно водили наших. Видишь строй в двести-триста человек, построенных конвоем, подходишь к конвою: «Майн... филь лаус!...» А сам чешешься, чтобы нагляднее было – да, много вшей. И пристраиваешься к банной команде.

Когда проходим ворота, то в баню надо направо, а к иностранным баракам – налево. Сперва пристраиваюсь в колонне с одной стороны – где разрешили конвоиры и где могли запомнить тебя, а по ходу перестраиваешься на другую сторону. Вот здесь особо помогает приобретенная чужая шинель: выбираю момент, будто по команде – поворачиваюсь кругом и иду прямо на конвоира в сторону «своего» лагеря.

Спокойно так идёшь, ещё и руки в карманы или за спину заложишь – чтобы и мысли немцу не пришло, будто на него советский пленный идёт, вальяжно так-то. Чаще всего здесь же, возле бани, кто-нибудь из иностранцев набирает в ящики уголь или брикеты, которые им разрешалось брать для «домашних кухонь».

Поворачиваюсь так, чтобы не попасть под взгляд конвоя, и отталкиваю одного из несущих от носилок. Впрягаешься без вопросов и удивления – товарищи-иностранцы ведь понимают, зачем этот манёвр, освободившийся сразу принимает роль старшего и начальственно идёт рядом до самого их барака.

Иногда ещё с вечера готовили себе проходы понизу круглой заградительной проволоки, на которой были развешены побрякушки – лишь тронь. Но всё же часть уходила и здесь – пока часовой в другом конце заграждения, несколько человек обязательно юркнул на другую сторону к иностранцам. Так и прокармливались, поддерживая силы и всё время надеясь – ведь слухи о победах наших, пусть и неполные, случайные, всё же доходили. Да и по настроению конвойных тоже можно было понять многое – в большинстве-то это были простые солдаты, будущее которых становилось всё неопределённое...

Однажды, когда я немного окреп благодаря всем ухищрениям ежедневных пикировок и помощи иностранных братьев по неволе, захожу в клуб советских военнопленных. Да, был в Гёрлицком шталаге и такой, занимал этот клуб целый барак, здесь даже устраивались порой спектакли силами военнопленных. А немцы включали наш клуб в свой «спектакль» – демонстрировали представителям международного Красного Креста «гуманность» по отношению к советским военнопленным. Кладбище, видимо, в этот «спектакль» не вписывалось...

Так вот, мне сразу бросилась в глаза русская тройка лошадей, нарисованная каким-то любителем во всю стену этого помещения. Здесь же на скамье сидело несколько наших и рядом – немецкий фельдфебель.

– Вот так тройка, – невольно вырвалось у меня. – Где это художник такую видел? Вырос, небось, когда крестьяне пёхом ходили, а то – на коровах ездили. Это ж разве кони...

– Это ваша правда, – встаёт тут фельдфебель и на русском подтверждает мои слова почти без акцента. – Я тоже согласный, художник не видел русский тройка... настоящий!

– Герр фельдфебель, – удивляюсь я. – А вы-то откуда русскую тройку знать можете?

Оказался тот фельдфебель чуть не «земляком» моим – как военнопленный попал в Усть-Каменогорск, после Первой мировой и революции женился на русской из Омска, а потом жил и работал в Новосибирске на пивзаводе. Уже в тридцать девятом, когда по заключённому с Германией договору состоялся обмен граждан, он переселился с женой и четырьмя детьми к себе на родину. А вот теперь служит главным переводчиком в среде советских пленных...

Ещё в пятнадцатом году я встречал у нас военнопленных, часть их жила даже в моей Бухтарминской станице, где для них на устье речки Селезнёвки были построены хорошие бараки. Ничего те пленные там не делали, разве что кто-то по своему почину занимался или огородик обрабатывал: жили без конвоя, жрали что хотели и сколько желали, да ещё ухаживали за безмужными – солдатками и просто одинокими, чьих женихов убили, – русскими женщинами!

С этим я на него здесь же и обрушился, не боясь и не стесняясь, раз он так хорошо изучил русский язык.

– ...Только из нашего лагеря мы после утренней проверки прощаемся с десятками товарищей, трупы которых отправляем для захоронения! Думаете, обыкновенные смертные? Не-ет, от голода, от скоротечной чахотки, от побоев... Вот и сопоставьте, как наш народ к вам относился... ещё и жалели, небось... и как – вы... цивилизованная нация, так бы вашу душу с мамой и с вашей культурой!..

– Да-а, – фельдфебель слушал меня терпеливо, я по глазам видел, что он мается, и не боялся, что он потом доложит. – Что ж, мы в период плена жили в России очень хорошо – правительство царское по пятнадцать рублей в месяц выдавало на содержание, да баран тогда не больше трёх рублей стоил... Правильные обвинения, да что говорить... время другое, люди... не те. Всё же часть вины вы меня... да – с меня снимайте: всем вашим пленным известно, что лагерь в Гёрлиц один из лояльных. Здесь и моя работа; не забыл я... как это? – русский хлеб да соль. Да я почти один на весь лагерь, всего не успеешь...

Часа два мы с ним проговорили. Настроение в Германии стало совсем другим, победительский угар давно прошел, а фронт приближался. «Что может сделать маленький человек? – говорил мой собеседник, как, впрочем, говорим мы все во всех концах земли, где появляется диктатор-самодержец и преступная клика легче объединяется вокруг него, чем сопротивление. – Дрожишь за семью, детей. Ничего не можешь... только остаться честным». «Лояльность»... н-да, хоть так: если ловятся при побеге советские военнопленные, то всегда называют Гёрлицкий шталаг... для возврата. Здесь остаётся ещё шанс выжить. В чём я мог убедить фельдфебеля? Он не забыл меня и помнил о нашем разговоре, и то хорошо. Он меня выучил одному

обращению к иностранцам по-немецки, даже написал, чтобы я выучил назубок: «Sie können doch nicht zulassen, das russische Soldaten stochern im Müll wühlen» – что-то вроде «Вы ведь не позволите, чтобы русский солдат унизился до помойки»... «братушки, бляха!», добавлял я уже по-русски. Не знаю уж, как они понимали мою присказку, но срабатывало безотказно, они тоже были солдатами.

Почти три месяца находился я в этом лагере, и всего семь дней из них не удалось мне проникнуть за барьер, установленный охраной нам, русским. Думаю, немцы не столько опасались «экономической» поддержки нас иностранцами, сколько самих контактов, понимания и самого фактора солидарности, которая неминуемо возникла между людьми, угнетёнными единой опасностью и унижением человека.

Наверное, человеческие чувства невозможно выбить никаким насилием, эту «заразу» сочувствия и человечности фашизм не мог выкорчевать даже из собственного народа, пусть и одурманенного на время или запуганного. Ничто не удержится на штыке, насилии, жестокости – это проверено историей... И нашей.

Мы здесь слышали о казни студентов в Мюнхене. Как дошли до нас эти рассказы о молодых людях, что осмелились сопротивляться, выступать против официальной власти, да ещё во время войны? Кажется, об их казни писали в газете, а может быть, кто-то из охраны обсуждал, ...а ушей в лагере много. Когда я попробовал расспросить «моего» фельдфебеля о «Белой розе» – так вроде называли их организацию – он отвёл взгляд, оглянувшись, и сказал, что ничего не знает «об этих безумных мальчишках». «Что-то уж больно напугали эти «мальчишки», надо же – головы отрубили...», – пробормотал я вслед спутулившейся спине немца. Для нас подобные известия говорили о разладе внутри этого «рейха»: от тех «внутренних врагов», для которых поначалу строились эти лагеря, Гитлер избавился ещё до войны, а это ведь были уже молодые... Значит, и дела на фронтах вовсе не так успешны, как пытались нам, да и своему населению, внушить. И попытка покушения в сорок четвёртом на «фюрера» уже офицеров вермахта, о которой у нас тоже шептались, укрепляла надежду на поражение фашистов, а значит – и на освобождение... если доживём.

Однажды я решил пробраться через проход, сделанный нами в заграждении колючей проволоки. Лаз был широкий, метра три, но низкий, чтобы оставался как можно незаметней. Едва прополз половину, как чувствую, нарвался – френч прихватила колючка. Дёрнуть нельзя, погремушки наделают шума, ни вперёд, ни назад. А вдоль стены прямо на меня идёт часовой. «Ну, капут, – думаю себе почти равнодушно. – Отпикировал...»

Но этот добрый – а как его ещё назвать? – охранник не дошёл до меня метров пяти, увидел – мы даже встретились глазами... и повернулся, уходя обратно вдоль своей стены. Едва он удалился, я дёрнул так, что вырвал клоч материи, и убежал... к иностранцам, конечно, не теряя же из-за минутного страха лишний шанс...

На случай бомбёжек лагерь перерезали и опоясывали глубокие окопы, в которые мы и уходили, набивши желудки и сумки. Ожидая удобного времени, рассаживались в этих укрытиях, словно профессиональные нищие со своими торбами – кто ещё ел, кто курил, а если позволяла погода, и дремали.

Что ещё, кроме отчаяния и такого естественного желания жить вопреки всему, могло толкнуть на это унизительное, в общем-то, попрошайничество. Пусть даже эта помощь шла от души: и добродушные бельгийцы с голландцами, и неумы-

вающие французы, и немного чопорные англичане, сдержанность которых могла сойти за высокомерие, – все старались нам помочь. Не говоря уже о югославах, в бараках которых звучало общее слово «братишка». Все они поддерживали и посаженных в карцер, подкупая часовых: карцер находился тоже на их территории.

И всё же – постоянный риск, как и ежедневные новые могилы. Как-то неудачливый военнопленный попытался прорваться через ворота, не обращая внимания на часового. Один не пускает, другой рвётся, словно в затмении. Немец дошёл до белого каления и пырнул несчастного штыком. А когда раненый отскочил, то слабо закреплённый штык остался в ляжке. Так со штыком и пустился наутёк, часовой с винтовкой – за ним. Наверняка решив, что немец хочет его добить – стрелять в большой толпе не разрешалось – несчастный убежал, пока не обессилел. С руганью, наконец, догнал его часовой, выдернул свой штык. А раненого ребята увели в лазарет.

Иной раз, когда наших много прорвётся к иностранцам, немцы устраивали по баракам и окопам облавы с собаками. Эти собаки умудрялись выбирать нас даже в толпе иностранцев...

Отловленных приводили под конвоем в комендатуру, где наказание определялось зависимо от того, сколько раз попадался – у немцев всякая регистрация была налажена. Пять суток, десять карцера... Несколько раз попадался и я, но мой «земляк»-фельдфебель без особых нотаций говорил конвоирам, чтобы меня «выбросили на волю». Получив всё же хорошего пинка, я пробкой вылетал из дверей комендатуры и нёсся в свой барак...

Что война немцами проиграна, мы ощутили и по тому, как однажды во время утреннего построения кто-то из администрации произнёс целую речь, уговаривая не нарушать режим, меньше «гулять» за границу и... не подвергать себя риску. «По инструкциям охрана не несёт никакой ответственности за убийство или ранение при нарушении режима. Так вы недавно похоронили своих товарищей... при попытке к бегству. Война идёт к концу (правда, в чью пользу – сказано не было, да кто ж не поймёт!). Нужно беречь себя! Вы много пережили, теперь осталось недолго...». Так сколько же? Шёл конец сорок четвёртого...

И не знал ещё я, что трагедия войны может коснуться даже животных, да ещё и с детства мне родных – лошадей. И не отдельных – целой породы, а что такое племенное коневодство, не мне ли знать – с обоих боков по родне на конях держались. Веками отбор тот шёл, чтобы красоту и резвость у коня иметь. Но это чуть позже пришло, хотя и здесь – в неметчине. Пока же – выжить, вопреки всему, и судьбе нагаданной...

7

За эти месяцы я часто встречал лазаретного врача, предложившего мне место санитаря, но мой источник существования меня устраивал. Вскоре я смог передать от него обратный привет нашему доктору Медведчику.

После Нового года, и моего ведь сорок пятого, меня вновь направили в свою рабочую команду в Вальденбург. Снова начался изнуряющий рабский труд в карьере, хотя теперь-то я уже рассчитывал дожить до освобождения.

Рядом с нашим лагерем, в каком-то километре, в бараках жили вольные рабочие – поляки и чехи. Медицинскую помощь им, как, впрочем, и немцам, оказывал наш Иван Иванович, который без конвоя уходил в те бараки. Не исполняя этой

своей работы профессионально, не смог бы он помочь выжить многим и многим из нас, русских доходяг. И всегда носил с собой огромную сумку-«сидор», куда помещалось чуть не два пуда продуктов и почти ведёрный котелок с крышкой. Здесь он принимал всё – куски хлеба, картофель, суп сливался в котелок. А возвращаясь, приносил в наши бараки, где распределял меж обессиленными от недоедания. Едва слабый товарищ хоть немного приходил в себя, доктор переключал свое внимание на более изнурённого. У него был и ещё один способ помощи своими добрыми руками (не хирурга ли?!) одним лишь ножом выделывал он из дерева детские игрушки – курочек с цыплятами. Эти игрушки через рабочие команды позже обменивались у немецких женщин на разные продукты, которые тоже назначались ослабевшим пленным.

После возвращения на родину я несколько раз пытался восстановить связь с нашим доктором, писал по адресу, что он мне дал, но всё безрезультатно. Мне было тревожно за него, хотя он вернулся на родину ещё молодым – едва тридцати лет. И только в мае пятьдесят девятого года его сестра решилась мне написать из города Гогичая в Азербайджане, что наш Иван Иванович умер ещё в пятидесятом где-то на Севере. Но фотография доктора, которому многие наши люди в плену обязаны жизнью, хранится у меня...

И здесь пропущу-ка я несколько лет, оставив себя в немецком шталаге, потому что комок в горле стоит, и не могу иначе смотреть на эту фотографию доктора, как с недоумением и тревогой – за страну, конечно, за которую воевали, терпели плен и унижение, и товарищей хоронили в неизвестности... И поеду с ним в другом зарешёченном «телятнике»: но уже по своей земле, на север, в Республику Коми, где по лагерям сгнуло немало страдальцев, без вины виноватых. Среди своих ведь погибали... И вспомнилось мне: «В Сибири хоть среди своих помрём...». Для Медведчика это оказалось слабым утешением. Да и не для него одного, как понимаю. Скорее наоборот: из письма, которое мне переслала сестра Ивана Ивановича, я понял, что именно жестокость этих «своих» ускорила смерть доктора, совсем ещё не пожилого даже – ему ведь только немногим за тридцать-то и было... Вот оно, письмо или, лучше, записка – потёртый и мятый тетрадный листок, почему-то в косую линейку, сложенный по фронтовой привычке небольшим треугольником. Писалось химическим карандашом и потому буквы расплывались, но прочитать можно... хоть и почерк «медицинский», или просто торопливый:

«Простите, родные мои, что эта весть снова принесёт вам боль...

Но я был жив тогда, когда вы получали похоронки. И выжил в плену, врачую и тем помогая таким же несчастным узникам... Как мы радовались победе и освобождению, как надеялся увидеть и обнять, если вы живы... И всё же мне хочется самому проститься, пожелать вам возвращения в нашу Одессу, тихих домашних радостей. Думаю, что человек этот письмо доставит, он слову крепок, хоть и вор, чем гордится. Имени не называю, у него их много, сам назовётся. Он-то получает свободу... статья его, оказывается, не страшна государству... это мы... Я его вытащил почти с того света... в этих условиях, да ещё тайно, это походило на чудо... А я больше не могу, да и не хочу жить, устал от бессмысленности и унижения. Всё-таки была надежда, когда этапом отправляли из Германии: ошибка, разберутся... «Лечил фашистов, гад, – кричали мне в СМЕРШе. – На месте бы в расход пустить!». Да, конечно, я ведь врач, а как бы мог помогать нашим бедолагам

в лагере. Но лучше обо всём этом вам не знать... я не представлял, что человек способен так издеваться над себе подобными, да ещё и на одном языке говоря... И дело даже не в шахте и не в кайле, которым махали ещё рабы в Египте. Но кайло и тачка могут стать инструментом издевательства, а я ведь и оперировал когда-то успешно, а здесь... я ложку-то еле этими пальцами удерживаю, какой там скальпель. И у своих ведь!.. Но потому-то и страшнее и мерзостней, что «свои»... в плену понимаешь – ты у врага, но даже там, в условиях физического уничтожения, была надежда и желание жить – вопреки врагу. Но здесь, на родной земле, пусть и холодной, но своей, это желание убивается планомерно и ожесточённо, подобного унижения не пожелаю и врагу... нет, даже если бы случилось чудо, которого здесь не будет, если бы вышел... всё равно видел бы в людях лишь мерзость и животные страсти... впрочем, животные не ведают сладострастия в унижении ближнего... Прощайте... я врач и смогу найти достоинство в смерти, здесь она – избавление. Пойдите, родные мои, возле Дюка, полюбуйтесь и за меня нашим морем, прокатитесь на Фонтаны, может, и опера уже восстановлена... это будет памятью обо мне... и не корите, постарайтесь понять и жить долго – и за меня... Ваш сын и брат Иван Медведчик».

После такого письма можно, пожалуй, только молчать, и не впускать в себя...

8

...Откровенно говоря, кому нужны были эти топорные детские игрушки, которые делали и другие пленные? Но мир человеческий пёстр, и подогнать под одну гребёнку его никому ещё не удавалось. Вот и немецкие женщины отдавали нам за них продукты, хотя и им, и детям запрещалось давать пленным что-либо из съестного даже в виде милостыни. Но всё же находились мастера и конвоиры, которые закрывали глаза даже при обмене на бельё, а если вблизи не предполагалось большого или маленького, но вредного начальства, то и разрешали развести костёр или просто заводили в закрытое место: «Сидите, мол... до сигнала».

И хоть изоляция выглядела строгой, но мы почти постоянно оказывались в курсе положения на фронтах: через газету украинских националистов, из разговоров с поляками и чехами, с которыми изредка сталкивались на работах, даже через немецких рабочих и наших же конвоиров. На основе всех собранных за день данных и слухов к отбою составлялись подробные сведения, и в каждом бараке определёнными людьми сообщалась информация, она обсуждалась, строились предположения, поддерживались отчаявшиеся.

И хотя поправка, вырванная мною в Гёрлице за четыре месяца работ, снова сменилась истощением, дни нашего заключения подходили к концу. Это ощущалось ещё и по нервозности начальства.

Но в самом деле для нас положение становилось всё сложнее и неопределеннее именно с приближением фронта. Возникла опасность, что в последние дни мы могли погибнуть, может быть, за несколько часов до возможного освобождения.

Где-то за месяц до нашего освобождения нас перестали посылать на работы. Днём мы слонялись по лагерю, пытались разобраться в самых противоречивых слухах, а к вечеру, ещё и при дневном свете, нам приказывали снимать всю верхнюю одежду, которая складывалась в тамбуре, – в одном бельё нас запихивали по своим камерам-баракам, окованные двери закрывались на засовы и замки.

Через Вальденбург непрерывно двигались на запад отступающие немецкие части, эвакуированное население сплошным потоком ехало на машинах, подводах, просто пешком с ручными тележками. Для беженцев невдалеке городскими властями были сооружены бараки для стоянки, отдыха, питания.

Кто мог поручиться, что отступающие эсэсовцы, не считаясь с охраной, не уничтожат нас в озверении последнего отчаяния? Да и за самих конвоиров трудно поручиться, что может взбрести в голову при такой неразберихе... Мы среди своих товарищей сами разъясняли опасность теперь любых столкновений, стараясь избежать ненужных жертв от озлобления конвойных команд, уже озабоченных будущей ответственностью.

Эти предосторожности, очевидно, сработали не везде: вовсе незадолго до освобождения в других бараках нашей команды, находящихся на другой стороне химзавода «И. Г. Фарбениндустри», конвойные забили до смерти пятидесятилетнего казаха из Яны-Курганского района Кызыл-Ординской области...

Нам объявили, что в любое время в пешем порядке мы должны быть готовы под конвоем уходить на запад, даже осмотрена одежда, обувь – заменили старое и разбитое, подготовили сухой паёк. Мы знали, что многие не выдержали бы длительного перехода, а со слабыми и отстающими в таких случаях разговор короток – перестреляют, как собак.

Ждём дни, недели: каждую ночь, приникнув к решеткам, видим и слышим в стороне Бреслау артиллерийские залпы. Это километров семьдесят на север от Вальденбурга, но в нашу сторону они почему-то не приближаются. А совсем не исключено, что нас попросту расстреляют в закрытых бараках из пулемётов на вышках – мы находимся под их постоянным прицелом. Потому в эти ночи мы организуем дежурство возле окон и наблюдение за поведением охраны.

И вот через нашего связного Юзика – советского военнопленного-поляка, который был переводчиком, – получаем по цепи сообщение: нынче ночью конвойная команда снимается и уходит, а мы остаемся в бараках до прихода Красной Армии. Наши завтра должны быть в городе!

Сообщение передал Юзику один конвоир, который попросил гарантий безопасности со стороны военнопленных: тогда он готов дезертировать, остаться в городе, а у коменданта выкрасть ключи от ворот и барakov. Из нашей команды через Юзика наиболее авторитетными товарищами была обещана немцу полная неприкосновенность. Знали об этом пока по несколько человек из барака, чтобы не поднимать лишней суматохи в последние часы.

До поздней ночи слышались громкие разговоры, отрывистые слова команд, окрики, лай собак. Потом всё смолкло. До самого рассвета мы прислушивались, не смыкая глаз, в любую минуту ожидая самого худшего. Наконец пришло чистое солнечное утро – с рассветом всё же становится легче на душе, хотя по-прежнему сидим под замками.

И вот смотрим: приоткрываются наружные ворота, а от них к баракам идет человек в штатском и один за другим начинает открывать засовы – ключей у него полные карманы.

Только теперь начинаем понимать, что это не сон, а явь – мы на свободе. Все высыпают наружу, у многих слёзы. В городе, по всему, немецких солдат уже нет, нет пока и наших войск. Откуда-то издалека немцы дали несколько артиллерийских залпов по Вальденбургу. И снова наступила настороженная тишина.

Впервые без конвоя мы пошли на кухню. Там остались две женщины: «Остался только картофель... будем варить для вас». Нашлись и свои повара. А кто-то из товарищей уже набрал возле кухни очистков, принесли во двор лагеря, всё ещё оглядываясь, стали мыть, варить в вёдрах. Пришлось опрокинуть это варево рабское.

В одной стороне разобрали заграждение, чтобы свободно выйти на шоссе навстречу нашей армии. А вот уже принесли с кухни картофель и кофе, хлеба не было, но зато картошки съели, сколько могли, не меньше литра каждый выпил кофе. Животы у многих раздулись, военнопленные, от которых оставались только кожа да кости, стали и вовсе походить на рахитиков, хотя наш доктор убеждал не дорываться так до еды...

И вот – наконец: с северо-восточной части города в нашу сторону движется танковая колонна. Наши-и-и!

От лагеря шоссе всего метрах в двухстах, и все кинулись навстречу танкам, перегородив дорогу. Наверное, со стороны смотреть на нас было тяжело: восторг измождённых людей, их счастливая истерика вызывали у танкистов самые разнообразные чувства. Жалость и смех, недоумение, ужас и брезгливость, и желание помочь вот сейчас, и нежелание принять за явь этот живой рахитичный кошмар, и радость – радость – радость здоровых людей, проскользнувших-таки над самой пропастью невредимыми, да ещё и спасение принёсшими. Всё это мелькало в растерянных лицах здоровых ребят в комбинезонах и шлемофонах, в их распахнутых и неловких руках, которых никак не хватало на ту массу тянущихся-обнимающих-прикасающихся истончённых рук, жаждущих на ощупь ещё и ещё раз убедиться – свои, свои, освободители!..

Шум, гам, кажется – каждый и сам-то себя перебить норовит, не говоря о рядом кричащих. И каждому кажется, что эти его несколько хриплых возгласов точнее всего поведают танкистам правду страха прошлого и счастья надежды настоящего... Меня, меня, меня послушай, братишка... послушай и сам скажи... подтверди... ведь дожили же!..

– Люди!.. тихо, граждане!.. ведь не понять вас! – закричал командир колонны, вновь забравшийся на гусеницу своего танка. – Ведь не понять – кто вы, народ? Галдёж ведь не разговор... Слу-ушай!

И сверху глаза его разбегались: толпа в обмундировании всех стран, кто-то и в нижнем белье; лица – и лица все разные, не определишь национальности сразу, потому что слишком пестры, неоднозначны, но и общая печать изнурения обезличивает, сливая в одно лицо – кричащее, жаждущее, счастливое...

– Слу-шай-те! – и все замолкли, притаили дыхание. – Несколько... три-четыре человека выделите... мы поговорим в стороне! я смогу... тогда!.. сказать, как быть дальше. Нам ведь неког-да!

Юзик, доктор Иван Иванович, я и ещё несколько наших товарищей окружили командира, постарались, гася собственное возбуждение, внятно рассказать о лагере, виднеющемся за проволочной оградой, о годах рабства в нём, о людях, что дождались-таки свободы – русские, украинцы, татары, буряты, грузины, казахи, кого хочешь можно было найти в этой галдящей, истощённой даже и собственной радостью толпе.

– Пока не двигайтесь из лагеря, теперь что ж – живы, – сказал танкист. – Следом части идут, они, видно, и займутся лагерем. Вы своих всех знаете: смотрите, чтобы не проникли власовцы, эти теперь растворятся постараются... Да кормите

людей – если в лагере скот остался, так забейте без опаски. А то у немчуры местной реквизируйте, скажите – мол, майор Сидоров приказал! Варите, отъедайтесь...

И уже с танка: «Р-разойдись, нар-ро-од!..». Колонна прогромыхала дальше, а мы вернулись в лагерь. Теперь уже окончательно поверившие в безопасность, нашли одного из двух быков, которых держали при лагерном скотном дворе, забили, и вскоре над лагерем потекли запахи мясного варева – ели, пока не раздувало ещё пуще, но и тогда опять ели...

Во время этого «праздника живота» подруливает в лагерь «виллис», в котором человек пять автоматчиков под командой капитана. Что это «виллис», я узнал позже, а капитан вернул машину с водителем в комендатуру, чтобы оттуда прислали грузовую машину. Только грузовик мог вывезти все лагерные документы, которые мы складывали в крафт-мешки. Личное дело на каждого военнопленного заводилось с момента его пленения и заполнялось с педантичностью. Вся картотека оказалась нетронутой, в документах отражался путь мытарей по концлагерям, рабочим командам... вплоть до последнего успокоения на кладбище. И если кто побывал или был каким-то образом причастен к немецкой армии, полиции или РОА – тоже с немецкой точностью заносилось в карточки.

Загрузив архив, капитан предложил выбрать из бывших заключённых несколько человек, которые поедут представителями с ним в комендатуру. Там смогут узнать дальнейшие решения, распоряжения по лагерю. Нам и в самом деле было неясно, как же быть дальше, хотя, казалось бы, просто ведь – освобождение пришло, страдания закончились для оставшихся в живых благополучно... домой бы, а? Но война ещё не кончилась, ещё рвались снаряды, грохот был слышен и теперь, чьи-то жизни навсегда прерывались в самом конце войны, как и в начале, и это было страшнее, потому что разум ждал покоя...

9

В комендатуре Вальденбурга нас принял комендант города майор Прохоров. Говорили недолго, ему и самому пока не многое было ясно, в том числе и как быть с нами. Да и беспокоило майора другое: в городе много значительных военных объектов, а воинские части, пройдя Вальденбург, ушли на юг. Комендантской части явно не было достаточно. Так что нам предстоит с капитаном вернуться в лагерь и составить из желающих служить в Советской Армии отряд по охране. Желающих и могущих – он ведь понимает, говорил комендант, что здоровье большинства подорвано, да и всем бы надо отдохнуть от всех тех ужасов рабства... однако... от службы их никто не освобождал, а люди нужны позарез. Он говорил, будто нас было нужно убеждать.

Часа за два были составлены списки добровольцев, их оказалось больше двухсот – пусть и истощённых, но достаточно здоровых, чтобы взять оружие. Немецкие винтовки мы получили уже вновь в комендатуре, здесь же нам дали возможность подобрать обмундирование, сменить деревянную обувь на нормальные ботинки или сапоги. Осталось повязать красную нарукавную повязку – для обозначения доверенности и прав, а потом всем отрядом, который возглавил помощник военного коменданта подполковник Богомолов, мы промаршировали по городу. Объекты были уже намечены прежде, так что после беглого осмотра очередного – был ли это завод, склад боеприпасов или продуктов, иное ли предприятие – подполковник назначал количество остающихся человек.

– Кто старший? Так, – он записывал фамилию в свою тетрадку. – Сами подробней ознакомьтесь с территорией, входами-выходами, охраняйте. Я понимаю, что людей недостаточно, смену проводите чаще, потом что-нибудь придумаем. Смотрите в оба!..

Оставив очередных пятнадцать-двадцать человек из отряда, мы шли дальше. «Может, нам повезёт, – говорю по дороге своим товарищам по бараку и работам. – Лучше бы принять уже знакомое место. Пока не лезьте вперёд, потерпим до химзавода...»

Химзавод «И. Г. Фарбениндустри», на котором мы проработали больше года, находился ближе всего к лагерю и в самом конце нашего рейда по городу. А пройти пришлось в тот день пешими километров тридцать, если не больше, – через весь город Вальденбург, так что многие уставали и были рады остаться на очередной «точке».

– Что, приустиали? – посочувствовал нам подполковник, когда оставались последние километра полтора до химзавода.

– Да-а... – протянул кто-то. – Прогони нас это же расстояние немцы... половина уже побита была бы. А теперь – и откуда силы!..

– Потому и силы, что не палкой гонят, что местами теперь поменялись – вы теперь власть представляете, – заметил Богомолов.

– Ух, я бы их теперь... прогнал бы! – всхлипнул кто-то.

– А вот это ни к чему! Не мстить – судить надо... – пресёк подполковник, уже не впервой, видно, встречающий подобное настроение. И было странно ощущать, что злая ненависть, в каждом из нас таившаяся и накопленная унижениями, как-то уходила на нет. Я это видел по глазам людей, по успокоенным лицам, по шагам на брусчатке пустынных улиц, на которые мы смотрели теперь другими глазами и с некоторым даже удивлением: ведь тоже живут вот, заперлись, боятся теперь. Но кто-то ведь и помогал нам выжить...

Как я и предполагал, к химзаводу «И. Г. Фарбениндустри» нас осталось двадцать человек, этот последний из двухсотенного отряд принял охрану предприятия под моей командой. Подполковник Богомолов вызвал по городскому телефону машину и вернулся в комендатуру. «Сеть не нарушена, так что будьте на связи», – попрощался он.

Мы и не предполагали масштабов завода, хоть и жили рядом и ходили на работу на его территории. Если это, конечно, можно назвать «жизнью и работой»... Всё предприятие, включая каменноугольные шахты и тупиковую ветку железной дороги, занимало площадь до четырёх километров длиной и двух – шириной. Охранялся он ротой солдат и ротой полицейских, вот и попробуй теперь «смотреть в оба» с двадцатью вчерашними пленными, изнурёнными до предела. Что уж там скрывать, бодрость наша была скорее нервической. Тем быстрее силы убывали, чем основательнее ощущали, наконец, своё освобождение, свою защищённость от... – ведь вслушаться-то страшно – от ежеминутной смерти, к тому же и унижительной, рабской...

Вся территория предприятия обнесена капитальными стенами, только часть – колючей проволокой. В разных сторонах стен – ворота с пропускными будками для постоянных постов, которые мы, конечно же, своими силами обеспечить просто не могли. На путях застыли холодные паровозы, вагоны, гружённые и порожние платформы. Огромные – тысячетонные?! – баки серо мерцали округ-

лыми боками. И никого. Ни единого движущегося предмета, полная жуткая тишина.

Немцы не зря придавали этому предприятию большое значение, не скупилась ни на охрану, ни на рабочую силу, ни, видимо, на вложение средств, даже и государственных. Здесь из каменного угля вырабатывались бензол, толуол, метанол. Из их смеси получался искусственный бензин. И теперь вот с такой маленькой командой нам предстояло охранять этот в прямом смысле взрывоопасный объект – мы вскоре убедились, что огромные баки и цистерны полны горючего. Страшно было представить, что ждало бы нас и добрых полгорода в случае диверсии!..

А тут и ещё один соблазн, последствия которого мы ощутили за месяц до освобождения, – метанол, древесный спирт.

Наши товарищи тогда, работая возле тупика «железки», заметили, что из одной цистерны на платформе сочится каплями прозрачная жидкость. Спирт! Хоть немного забыться, уйти от каждодневного ужаса... а здесь успокоение само набиралось по слезинке в котелок. Этот полный котелок со спиртом и пронесли ребята вечером в барак, устроили попойку. Что спирт ядовит, и уж тем более для истощённого человека, пришлось убедиться нам почти сразу: несколько умерли, двоих спасли – откачали в больнице, один ослеп. И все были молоды, ещё достаточно здоровые, а вот по незнанию погибли, не дожив до освобождения считанные дни.

В первую очередь осмотрели подходы, часть ворот и проходных калиток закрыли проволокой, кусками каких-то плит, ломом – в общем, что попадалось под руки и было доступно нашим усилиям. И вполне резонной оказалась эта мера: назавтра с утра, будто по команде, повалили рабочие завода со старыми фашистскими пропусками. Не пять-десять человек – сотни... Позже-то стало ясно, что здесь круглосуточно работало свыше четырёх тысяч специалистов...

Что было делать? Мы, естественно, не пускаем. Немцы не уходят. Нет, не нахальничают, не лезут и не горлопанят – видят наши повязки и оружие, но и не расходятся. Кое-как дозвонился до комендатуры – как, мол, быть? Официально предприятие закрыто не было, а работники рвутся на свои места, чтобы... не лишиться зарплаты. «Что ж, – после некоторых колебаний и, очевидно, совета ответили мне. – Пропускайте по их документам по цехам... пусть работают или... да, да – пусть сидят своё время, если нет работы. Лишь бы всё оставалось в целости! Да, пришлём кого-нибудь...»

Часа через два подъехали два наших офицера. Немцы уже разошлись по своим местам. Решили, что возле проходных у ворот и калиток будет дежурить один из нашей команды, а с ним – немец из бывших полицейских, которых рекомендуют сами немцы. Таким образом часть ответственности за порядок и сохранность оборудования была переложена на самих немцев. Да мы иначе и не справились бы. Тем более что нам ещё добавилось забот: жители близлежащей округи начали сносить к нам холодное и огнестрельное оружие, патроны и гранаты, радиоприёмники разных систем. Этот приказ военной комендатуры выполнялся старательно и массово, так что вскоре все мои товарищи обзавелись немецкими пистолетами разных – приглянувшихся! – систем, добротными приёмниками. Массу же сданного оружия отправили в комендатуру. Оттуда же мы получили распоряжение: внушать немцам, что завод позже будет работать и на полную мощность, задержка лишь до назначения нового руководства.

Пока же мы оборудовали несколько помещений под своё жильё и службу, приказом комендатуры немецкая кухня и столовая организовали для нас усиленное питание. Да, вначале, что греха таить, мы немного мародерничали. Садись в грузовик, трое-пятеро наших ехали в ближнее село или хутор, а там уже брали что попадётся – коров, свиней, птицу. Впрочем, это продолжалось недолго: новое командование сразу пресекло эту анархию и нам хорошо всыпали...

Недели три мы оставались вроде как «бесхозными», из комендатуры приезжали наши офицеры, которых мы обеспечивали жильём и питанием, а они работали в канцелярии, производили какие-то описи по цехам, к нам особого касательства не имея. По нарядам же из комендатуры мы отпускали бензин. Горючее не давало нам покоя: возле огромных баков приходилось круглосуточно дежурить, так что никто не жалел этой смеси, которую здесь же готовили два немецких специалиста.

В любой роте наших войск офицеры до командира взвода и даже старшины обзаводились легковой машиной, комендатура же выдавала наряд по единым нормам. Но от каждой части обычно приезжал ещё и грузовик с несколькими бочками, тогда как было положено получить лишь одну. Да ещё, глядишь, и сам начальник этой части на каком-нибудь шикарном «опеле» с поднятым тентом пристроится к своему старшине – выпросить «горючки» побольше. Как же не уважить своего-то офицера, когда мы на чужих вдосталь насмотрелись... они нас и за людей-то не считали. Теперь же мы могли хоть немного порадеть – освободителям, своим! Наши, русские, советские – они и отличались своей простецкостью. Человеческое братство, которого в других армиях, наверное, и не поняли бы, у нас же – ещё в гражданскую – оно оставалось естественным, потому что целью войны была жизнь.

Наконец мне позвонили из комендатуры, предупреждая, что днями приедет начальство части, в которую мы вольёмся и которая будет «обрабатывать и охранять» наш завод. Помощник коменданта так и сказал – «обрабатывать и охранять», что он имел в виду, стало понятным через несколько дней. Пока же он предложил мне подготовить «жильё получше – постарайся, мол, для собственного начальства!...»

С квартирой заботы не стало: рядом с заводом я сразу углядел двухэтажный особняк, который принадлежал фашистскому полковнику. Семья его якобы эвакуировалась на запад, но сам он почему-то вдруг объявился спустя неделю после капитуляции Германии. Что уж он ожидал здесь найти, но только о его появлении мне сообщили сами немцы, его соседи. Созвонившись с комендатурой, я и отправил того полковника – правда, он уже был в штатском и совсем неразговорчив – под конвоем к военному коменданту.

Пока мы находились в городе, хозяин этого особняка не вернулся; да и вернулся бы, так не велика печаль – потеснился бы, соседями его стали б не меньше по рангу, а по образованности, пожалуй, и покрупнее! Места же в доме того немчуры оказалось достаточно: больше десяти различного размера комнат, богато обставленных и ухоженных, несмотря на военное время и прокатившиеся через город различные войска, так что ни в посуде, ни в белье недостатка для моего нового командования не было.

Командиром новой части прибыл полковник Рукавичников. И он, и его заместитель подполковник Грановский, и начальник штаба майор Щенников, да и многие прибывающие офицеры не были кадровыми военными – это ощущалось и

по вполне гражданской, довольно вольной, выправке, и по отношениям, в которых они предпочитали обращаться друг к другу по имени-отчеству, а не по званию.

Моя тайная догадка насчёт нового начальства вскоре подтвердилась – все они оказались специалистами, Рукавичников и Грановский – инженеры-химики, уполномоченные провести демонтаж предприятий концерна «И. Г. Фарбенинду-стри», который позже предстал перед Международным трибуналом в Нюрнберге. Но цели хозяев этого концерна и методы «цивилизованного рабовладения» я познал на собственной шкуре и без выводов трибунала...

Теперь, параллельно с работой некоторых цехов, местные заводские специалисты были привлечены к инвентаризации оборудования, составлению чертежей и пояснений. А спустя несколько недель прибыл наш рабочий батальон для демонтажа и отправки завода.

Моя маленькая команда оказалась в двойном подчинении. По реализации бензина, охране химзавода и отношениям с местным населением мы по-прежнему относились к военной комендатуре. По всем же хозяйственным вопросам, снабжению рабочих столовых – и немецких в том числе – как за счёт плановых поставок, так и закупок у населения на оккупационные марки, мы теперь подчинялись новой своей части. Чаще всего мне приходилось работать с начальником снабжения майором Прохоровым, у которого, по существу, я стал первым помощником и заместителем, особенно когда это касалось закупок по немецким «дорфам»-сёлам, а позже и ведения подсобного хозяйства части, которое мы завели и развивали многосторонне, как образцовое фермерское хозяйство, привлекая и немецких крестьян.

За это время моя команда – вчерашние «доходяги-заморёныши» – окрепли и восстановили человеческий вес, хоть свободного времени и отдыха почти не оставалось. Но ведь дело не в самой работе – теперь мы её делали с удовольствием, не из-под палки – на себя, для своих. Уже одно это добавляло сил, не говоря о предвидящемся теперь возвращении домой. У меня времени почти вовсе не оставалось, еле собрался написать несколько писем родным. В организационных, заготовительных вопросах я оказался во много раз опытнее своего начальства, да и просто старше был. Так что командование части во многом положилось на меня полностью.

Прямо сказать, многое выполнять было сложно, особенно если это касалось... своих. С немцами проблем не было. Для наших же офицеров я оказывался часто попросту «непонятым типом» – без звания и знаков отличия, с нарукавной красной повязкой и пистолетом за поясом, партизан, одним словом. Этот «анархизм» пришёлся бы в гражданскую, опыт которой мне и нынче помогал немало, но всё же офицерские обязанности – пусть и при офицерской же зарплате! – бывшим военнопленным выполняемые, встречались порой с грубостью даже со стороны солдат. Я ещё не осознавал до конца, что мы, прошедшие ад лагерей, можем встретить дома довольно жёсткий прием, подготовленный всё тем же двести двадцать седьмым приказом сорок второго года...

Закупки же по сёлам оказались делом простым. Выезжал я на машине с двумя-тремя бойцами, заходил в селе к бургомистру: «Герр бургомистр! Их кауфе... ку, швайн, фогель... ганс... гельд филь!» – Мол, покупаю коров, свиней, птицу, денег достаточно.

– Пошли, – отвечает тот бургомистр.

Садимся в нашу же машину, едем ко двору, что показывает немец. Заходим к хозяину, затем все – в свинарник, птичник, в хлев: выбирай, мол.

– Давай! – зову своих солдат, и мы загружаем всё, продаётся. Тут же из планшета доставал марки, мне их не жалко – плачу за добрую свинью тысячу, за яловую корову в полтонны весом – две тысячи марок и так далее, по своей оценке на глаз, но чтобы и не обидеть. Подаю хозяину, однако бургомистр перехватывает, отсчитывает где-то третью часть, остальные же... возвращает мне. Берёт от хозяина расписку, и мы следуем к другому владельцу. Так – пока не заполнится кузов живностью. На обратном пути заезжаем к бургомистру, он все расписки заверяет печатью, я расписываюсь и – будь здоров, уезжаем в часть с добрым «уловом».

И никакого шума или там возмущения, а почему? Да потому что и так каждый крестьянин обязан был ежеквартально сдавать государству, исходя из наличия скота и птицы, определённую часть по твёрдой цене. Так что всё проданное двором частям нашей армии просто засчитывалось в план обязательных поставок.

В демонтаже завода принимали участие немецкие инженеры и рабочие. Подполковник Грановский, оказалось, напрасно тратил свой ораторский пыл, когда на собрании специалистов предприятия предупреждал о саботаже и порче оборудования. Видно, у мастеров и рабочих уважение к сделанному, к чужому труду оставалось в крови: не говоря уж о крупных деталях и станках, думаю, немцы не свернули ни одной гайки, не поломали ни одного болта. Производственной культуре их можно было только завидовать. И неудивительно, когда чуть ли не каждый день слышались жалобы даже простых рабочих на наш трудовой батальон: «варум-капут» – негодовали они, когда что-то с помощью трактора или лебедки вырывалось с фундамента «с мясом», небрежно или с маху грохалось что-то на камни и цемент, лупилось в сердцах кувалдой или ломом там, где нужно было просто отвернуть гайки. Я понимал их возмущение всей своей крестьянской сутью, но я-то знал и другую сторону своих, русских: умея порой разрушать безоглядно даже и уклад собственной жизни, создавая себе трудности ещё намного вперед, мы умели так же безоглядно жертвовать всем, работать, спасать, отдавать последнее. И мне становилось вовсе непонятным, как такой правильный народ, как немцы, мог допустить у себя, из себя, над собой такую самую большую неправильность в природе и разуме, как фашизм?..

«Несовершенен еси», – говорил наш поп когда-то о человеке.

За два месяца завод был полностью разобран, погружен в вагоны, на платформы, отправлен по назначению. А наша часть перебазировалась в город Лейна для демонтажа другого химзавода всё того же концерна «И. Г. Фарбениндустри».

У нас к тому времени организовалось целое подсобное хозяйство, которое я вывозил несколькими автомашинами – большей частью дойные коровы, собранные по брошенным бесхозным дворам. В селе вблизи города Лейна, намеченном ещё прежде, мы и разместили это хозяйство, там ждали свою часть, оттуда в основном и снабжали своих людей и тех немцев, которые помогали в демонтаже.

Здесь на окраине посёлка облюбовал я себе дом для жилья.

Дом был обычный для немецкого городка – двухэтажный, красного кирпича аккуратной кладки с такими тонкими известковыми (немцы связывали кирпичи

не цементным, но известковым раствором) швами, что они сами становились украшением. Не тяп-ляп! И венчался дом красной же черепичной крышей. Ласково строились, ничего не скажешь. И забора как такового не было – весь участок от улицы отделяла аккуратно подстриженная живая изгородь жимолости. И во дворе к крыльцу шла вымощенная булыжником дорожка, а по сторонам её – клумбы с цветами.

Постучавши, зашёл в прихожую. Здесь сразу начиналась лестница наверх, на второй этаж. А на площадке, опустивши одну ногу на ступеньку, стояла хозяйка, явно напуганная моим появлением. «Битте, ком, фрау, – махнул ей рукой, приглашая спуститься. – Да не пугайся, ничего плохого не сделаю...», – это я, сам отчего-то смущаясь, по-русски выговорил.

Она поняла и торопливо спустилась ко мне. Пока спускалась, я невольно отметил крепкие ноги в гладких чулках, мелькавшие из-под приподнятой длинной юбки. В серых глазах был страх, но полные губы пытались изобразить улыбку. Объяснил, что мне нужна комната, что за проживание ей будет заплачено. «Ja, ja... bitte», – повторяла она, показывая мне комнаты здесь же на этаже. Я не стал привередничать – рядом с кухней было что-то вроде гостиной, с диваном, круглым столом и венскими стульями. Кожаный диван был укрыт покрывалом вишнёвого бархата с набивными цветами, на покрывале аккуратно положены вышитые подушечки. Уют! После нар-то лагерных...

Здесь же на стене с цветными обоями разглядел несколько семейных фотографий, среди которых в рамке отметил мужчину в армейской форме. «Муж? Манн?» На рамке была закреплена атласная чёрная лента. «Фашист? СС?!...» – я спросил для острастки, подтверждая своё право на вторжение. Да и сам видел, что это просто солдат, пехота. Я уже понял, что дом вдовий, меня такое тем более устраивало. «Nein, nein, er ist ein Soldat...».

Несколько дней я приглядывался к хозяйке. И что греха таить, откровенно и жадно разглядывал в ней женщину. А чего иного можно было ждать от мужика, теперь уже сытого и отошедшего от постоянного страха за жизнь. Как я узнал позже, Мария – и это совпадение имени словно оправдало моё сближение – отправила свою пятилетнюю дочь к «гроссмутер» куда-то на юг, в Баварию. Я сразу стал приносить кое-какие продукты, а она не отказалась от кофе со мной. Всё было просто: в одну из ночей я поднялся на второй этаж, Мария словно ждала этого, была в шёлковой сорочке с кружевами и не сопротивлялась. Сначала это была молчаливая покорность, но уже через несколько дней сказалось её вынужденное одиночество. И кто мог бы осудить тридцатилетнюю здоровую женщину, истосковавшуюся по мужским рукам, если она забывается в горячке объятия и стонет в последней судороге откровенной страсти. А я был не самый худший мужчина, так что нам не нужно было много слов, чтобы понять друг друга. И постель, которую Мария меняла регулярно, не жила запахами лаванды, возбуждая на всё новое погружение в это горячее женское тело...

Хозяйство наше подсобное становилось всё солиднее: у нас были огороды, где выращивалась зелень, картофель; заготавливали сено для скота, зерно. За коровами ухаживали несколько наших женщин, спасённых из концлагерей, так что мы себя полностью обеспечивали молоком, сливками, маслом. В общем, продуктов хватало, но я помнил случай, который удивил меня в Вальденбурге, и теперь вовсе

не отмахивался от овощей, выращивали даже их знаменитый шпинат... И смех, как говорится, и грех, получалось вот так.

Вызывает меня к себе подполковник Грановский, и в кабинете у него сидят несколько заводских спецов и наша переводчица.

– Вот видишь, – сказал мне подполковник, приглашая сесть, – жалуются... немцы на плохое питание. Как-то поправлять надо.

– Ну-у, это уже наглость, товарищ подполковник! – возмутился я. – Их бы вот сейчас на ту норму, что они нам в лагере установили, поглядел бы на их морды!

– Вы, пожалуй, поаккуратней им, – это Грановский переводчице. – А ты не горячись, Скуратов...

Я стал говорить о выкладках ежедневной нормы – сколько мяса, круп, масла и хлеба на каждого выделяется. Не меньше, чем на своих. Мы на них не экономим... и если они недовольны такими нормами, то это просто нахальство с их стороны!..

Когда им перевели, то немцы в один голос заявили, что не жалуются на плохое питание или недостаток этих продуктов. Они просят лишь, чтобы ввели в меню столовой овощи, зелень, пусть и за счёт мяса или хлеба, – без овощей, мол, невозможно. Вот и разберись в человеческих привычках – в лагере мы проклинали немецкие травяные супы и во сне видели полновесную кашу или кусок мяса с караваем, а эти и от мяса готовы отказаться ради своего шпината. «Чоп, – как, морщась, сказал бы кочевник. – Трава!»

– Но где я им возьму: ещё не созрели, я ведь недавно с фермы... – ответил я.

Оказалось, недалеко, только в зоне контроля американцев, есть специализированное хозяйство, где можно купить ранние овощи. И ведь пришлось ехать, закупать капусту, столовую свёклу, шпинат.

Вот и теперь в дорф-селе под Лейной пришлось наладить подсобное хозяйство совсем на широкую ногу. Это требовало довольно частых поездок по округе. И вот однажды в городе Галле в разговоре с комендантом я узнаю, что мой год, да и многие помладше, уже месяца два как демобилизованы и отправлены по домам. Всё-таки был я уже пожилым человеком – пошёл сорок пятый год, мои командиры были, пожалуй, помладше меня. Мне представилась собственная жизнь, словно с какой-то высоты оглядел я её сейчас: при всей моей любви к работе и привычке к постоянству, без которого по крестьянству хозяйство просто завалится, какая-то цепь военных дорог, перемен обстоятельств и уклада, дороги по необходимости, а не из собственной потребности, опасности и сплошное выживание... Почти и остановиться некогда было, может, просто побездельничать, что ли... На меня вдруг накатила такая усталость, а может быть – тоска...

Подступившая осень, всё чаще затягивающееся тучами небо, пестрота увядающей листвы на деревьях всё больше заставляли меня задумываться о будущем. Вот и аисты исчезли как-то разом, а с неба уже долетал высокий гогот гусиных стай, клёкот журавлиных треугольников, летящих с севера. Никакая война не могла изменить законы природы и привычные кочевые пути птиц.

Меня, точно сквозняком, потянуло домой. Пусть и вовсе неизвестно, где обретёшь тот дом, но ведь есть родные, земля, наконец, своя, где нет необходимости делать усилие, чтобы понять и чтобы поняли тебя. Уехать, уехать...

Вернувшись из Галле в Лейну, явился я к начальнику штаба – доложить о результатах поездки. Заодно решил узнать о демобилизации. Хоть после освобождения сразу же написал письма всем родственникам и даже в свою организацию о себе, однако никакого ответа ниоткуда не получил.

– Разве вам здесь так уж и плохо живётся, Скуратов? – вместо ответа спросил меня майор Щенников.

– Вот вы, товарищ майор, давно были дома... или хоть на родине? Вот видите, – сказал я, когда начштаба ответил, что большинство офицеров-химиков призваны в феврале-марте этого года, – а я с сорок второго... да два почти года здесь, в лагерях...

– Всё понятно, Скуратов. Мы уже советовались с полковником, но всё же решили – условия здесь неплохие, вы отдохнуть можете, нам полезны ваше умение и добросовестность, так что решили воздержаться от увольнения вашего. Ещё с полгода поработаем, а там – все вместе и уедем. Дома сейчас... тяжело, сами понимаете – послевоенный период, материальные условия сложные... да, и я всё же рекомендовал бы воздержаться... пока. Впрочем, часов в одиннадцать будет полковник, можете к нему обратиться...

Полковник Рукавичников тоже попробовал меня отговаривать, и я понимал, что делают это они из доброго ко мне отношения. «Дело, Скуратов, не в хлебе, хотя и с ним сейчас дома сложновато. Да трудностями сейчас кого напугаешь... – говорил мне командир. – Боюсь, честно тебе скажу, попадёшь ты из огня да в полымя... не больно рассчитывай на встречу, к вашему брату, военнопленным... жестковато относятся».

Я и сам это слышал, как-то и ощущалось порой, но хотелось верить, что – случайность, нельзя же из несчастья второе несчастье делать.

– Никакого преступления за мной нет, и в лагере я себя не потерял, – ответил я. – Не мальчик – в Гражданской участвовал, да двадцать лет честной работы... И здесь не баклуши бил. Отпустите, устал без дома...

Я и сам почувствовал некий оправдывающийся тон. А в чём оправдываться, чью вину мне делить и нести на себе, и за что? Что в плен попал ведь не по своей вине и желанию, а по чьей-то команде, подставившей тысячи солдат на смерть и окружение безвыходное? Невольно вспомнились пленные французы, англичане, бельгийцы, которых поддерживали не только посылками, но и письмами... Что природа каждому внушила жажду жить и надежду – это разве преступление?..

– Ну что ж... я предупредил, – пристальнее взглянул на меня полковник. – Узнаю, Скуратов, на днях, вызову. Надеюсь, недели тебе хватит, чтобы с делами разделаться, передать... кстати, кто бы тебя подменить мог?

– Спасибо, Владимир Сергеевич! Век благодарить буду! А передать... уж точно старшина Потапенко справится, он основательный хохол и тоже деревенский...

Вернувшись к себе, я пересмотрел своё «хозяйство». Странно, как может человек быстро обрастать вещами – для солдата у меня их оказалось, пожалуй, и многовато. Ещё в первые дни своего освобождения зашёл я в одну квартиру, брошенную хозяевами. «Фашист?» – спросил я какого-то высунувшегося старика, указывая на дом. «Hitler kaput!», успокоил мою совесть незнакомый человек. Тем более что квартира была открыта, а нажитое в ней было наверняка за чужой счёт. Не ходить же мне и теперь в лагерных отрепьях!.. Одежда того немчуры оказалась

мне впору, так что я выбрал три новых костюма, несколько пар белья и сорочек, два добрых демисезонных пальто и зимнее, ну и прочее в том же духе – не всё и в большой чемодан вошло, который там же и нашёлся. Пополнение, само собой, происходило и позже. В том числе новенький никелированный «парабеллум» с тремя обоймами.

Оглянувшись, увидел Марию.

Она стояла, прислонившись к косяку двери, и, видимо, давно наблюдала за моей вознёй. Руки её по-бабьи были сложены на животе, а серые глаза туманились явным пониманием. Встретив мой взгляд, Мария повернулась и пошла к себе наверх. Даже медленные шаги её по лестнице показались мне задумчивыми. И даже предполагал, о чём. Но, как оказалось, не до конца.

За окном серел вечер, а в спальне шторы были задёрнуты, и лицо Марии чуть белело в полумраке. То, что с нами происходило в эту и последующие ночи, было похоже на исступление: мы, задыхаясь, отрывались друг от друга, чтобы через минуты слиться заново в единый раскалённый ком... Рук становилось много и они, словно отдельные существа, сталкивались, переплетались и открывали всё новые пространства в телах, холмы, лощины и неизвестные тропы манили в себя вновь и вновь, туманя голову, пробуждая эхо словно издалека доносящихся криков, рычания, шёпота, хрипа...

По утрам, едва вырвавшись из горячего сна, уезжал по делам, чтобы ночью вновь и вновь ухнуть в пропасть нашего безумия. Мария будто жаждала всосать, вобрать меня всего в себя и растворить без остатка и памяти. На вторую или третью ночь, когда мы лежали, обессиленные очередной вспышкой слияния, она взяла мою руку и положила себе на живот. «Ein Kindchen, – прошептала и повела моей рукой по влажной коже. – Hier... in meinem Bauch... hier... Kindchen... Dein... unser Kind... ich bin schwanger... zwei Monate...». Конечно, два месяца... «А как ты думал...», – пронеслось у меня в голове. Конечно же «наш», не ветром же надуло за это время. Я искал немецкие слова, мешая с русскими: «Зачем тебе... избавься... лосверден... вегмахен!». «Nein, nein», – зашептала Мария и губы её вновь заскользили по мне. Такое разве забудешь...

Разве я ждал этой жаркой нежности от чужой... от немки... Но она ведь была просто женщина... Мария... при чём здесь кровь... женщина... перед вечной разлукой – продолжающая жизнь матка, которая после совокупления хочет оставить в себе всего тебя вместе с душой без остатка, сожрать, как делает это самка каракурта... Чем я мог ответить? Я понимал, что эта война надолго принесла с собою иные отношения, никаких подобных союзов не принимая, а может быть и карая. Надолго. Навсегда? Конечно, мы все родственники на этой земле, учили же – от Адама и Евы род людской... или ещё ведь и Змий был... и вся вражда человеческая оттого, что Авель и Каин вовсе не братья?..

И всё же вещи надо было упаковать, отобрав лучшее и необходимое. Кроме чемодана, часть вещей пошла в большой деревянный сундук с запором, а новые одеяла и ещё кое-что завернул в брезентовый баул, обтянутый ремнями. Хороший приёмник «Telefunken» уже никуда не помещался, поэтому пришлось его продать – оккупационные марки, мне сказали, будут обменены дома на свои рубли.

Впрочем, этих марок скопилось и так немало, куда их было тратить.

Так что положил я эти чужие деньги под горшок с геранью, что стоял на подоконнике, будет поливать – найдёт. Начальство предложило взять продуктов без всяких ограничений, но в вещмешок вошло десять банок мясных консервов, килограммов пять копчёных колбас. Домой я тоже припас съестного, картофеля, капусты, несколько окороков. «Домой»...

Неделя прошла быстро. Полковник вызвал меня.

– В Виттенберге, – сказал он мне, – есть комиссия. Таких бедолаг проверяют. Филтрационный пост. Нынче подготовят тебе расчёт, Скуратов, характеристику тебе справедливую написали, и все документы. Бери завтра машину, вещи свои и поезжай туда. И ни пуха тебе, Василий Николаевич... дай бог, чтобы всё хорошо дома было! Чтобы, главное, домой доехал...

С каким-то сомнением он это сказал, но я не придавал значения – среди своих ведь теперь буду!..

Вечером меня провожали товарищи по части, по бокалу вина выпили мы и с Марией, почти молча. Уснули мы под утро. Проснувшись и спустившись вниз, я увидел её уже одетой, светлое платье прикрывал накрахмаленный фартук, на плите скворчала яичница с салом, пахло кофеем. Мария положила рядом с чашкой портсигар, тяжёлый – серебряный... «bitte... für Sie... für dich!». На крышке была выгравирована голова коня. Я положил портсигар в задний карман. Провёл рукой по волосам Марии, по щеке, ощутил на ладони её влажные губы... А что ещё мог: «Прощай! Лебе воль!...». И ещё: «нах хаузе траге зайне тохтер... криг енде... капут!» Хотел сказать «не поминай лихом», но махнул рукой – и так всё понятно. Провожать меня на пороге я, конечно, запретил.

А на другой день легковушка доставила меня в Виттенберг. «Ну, удачи тебе, – сказал на прощанье водитель. – Держись, друже, и молись богу...».

Едва зашёл я в канцелярию и подал дежурному офицеру направление, он спросил меня несколько недоумевающе даже: «Где, мол, твой сопровождающий, кто доставил?»

– Никакого конвоя у меня нет, только водитель, – несколько растерянно ответил я. – Вещи...

– Забирай свои вещи, – удивился дежурный, увидя легковую машину. – Сейчас проведут на место. А ты, сержант, возвращайся в часть. Всё в порядке.

Внутри ограды оказалось несколько зданий, пущенных под казармы для бывших военнопленных и других репатриантов, прибывающих также из других государств Европы и со стороны, занятой союзниками. Сюда меня и провели со всеми моими ящиками и баулами.

Уже на второй день, ещё до полудня я прошёл комиссию: сдал сопроводительные документы, характеристику из части и военный билет, который я хранил всё время плена как зеницу ока. Сама возможность сбережения оставляла нам пусть порою и призрачную, но всё же связующую нить с родиной, а что было важнее в нашем положении, чем надежда на неразрывность этой нити?.. Кроме осмотра документов, был проведён короткий допрос и взяты отпечатки пальцев – это тоже понятно: ведь немцы обязательно проводили подобную формальность, и теперь личное дело из лагеря, а сохранялось оно у большинства, можно было легко проверить. На том формальности, вроде, и закончились.

Всё было понятно и справедливо, кроме отношения к бывшим военнопленным охраняющих нас солдат и офицеров – многие считали нас изменниками. Попросту сказать, относились к нам, будто перед ними осуждённые арестанты. Это оказалось неожиданным, а потому неминуемо вело к спорам и столкновениям – тяжелее всего выносить подобное непонимание от своего же брата... Что говорить, и время все пережили нелёгкое, и образования тогда не хватало, а значит – и широты взгляда на трагедию одного человека как на общую. Сказывалась и изжога шпиономании, подогреваемой в нас ещё до войны, когда собственные амбиции и промахи так просто было прикрыть объявлением несогласного с твоим мнением – общим врагом... Вот и теперь: они, косо глядящие на нас охранники, ещё не понимали, что нельзя так безоглядно судить всех, как не понимали, что оскорбление достоинства человеческого лишь по внешнему обстоятельству неминуемо порождает саму возможность подобного же и по отношению к ним. Но швейцар у нас иногда на входе главнее начальника... и мстительнее, потому что норовит отыграться за свою униженность на хоть как-то зависимом от него при первой возможности.

Прожить в Виттенберге мне пришлось почти две недели. Это вроде бы немного, но у каждого время часто исчисляется по-разному: тоска наша оказывалась тем непереносимее, чем ближе становилась дорога домой, большинство из нас так часто воображали её в горячечном бреде... иногда и последнем. И всем нам верилось, что стоит лишь пересечь границу, как всё станет на свои места, да и вправду – что бы ни было, а на своей земле и помирать легче. А вот чего мы никак не ждали, так это подобной встречи: к своим же вернулись, ведь должны понимать – что мы вынесли. Уже и армейские газеты печатали жуткие снимки из лагерей смерти, эти печи, в которых сжигали людей, эти горы истощённых трупов, оставленных отходящими расстрельными командами эсэсовцев. И по неволе зудела в голове мысль – легче ли терпеть унижение среди своих...

И опять у меня, как заговорено, не получилось прямой дороги...

Вдруг меня вызывают и под конвоем ведут в другое помещение, где не было почти никакой мебели, кроме скамьи у стены да пары стульев. С полчаса я оставался один, отчего-то становилось всё тревожнее. На стене висел плакат: солдат, почему-то в будёновке, прижимающий указательный палец к губам: «Тебя слышит враг!»...

Наконец вошли двое: капитан и младший лейтенант. Лица из охраны здесь примелькались за две недели, но этих я не видел даже среди комиссии, что опрашивала репатриантов.

– Так, говоришь, – капитан глянул в папку у себя в руках, – Скуратов, у немцев служил? Хорошо на них поработал?

– В концлагерях я был, товарищ капитан, в неволе голодной, не приведи вам...

– Тамбовский волк тебе товарищ, сука. Как это тебе немцы солдатскую книжку вернули? Чтобы здесь вредить? Смирно стоять! Вбил бы тебе язык в глотку, да вот приказ, – лейтенант ткнул мне кулаком в бок. – Мы воевали, паскуда, пока вы здесь у фрицев фуем груши околачивали...

На груди у него был орден «Отечественной войны» и медаль «За победу над Германией». Я хотел было сказать, что по его красному околышу да синему верху фуражки вижу, где и с кем он «воевал», но вовремя поостерёгся, не трожь, оно меньше воняет, а то и сам в дерьме захлебнёшься...

– Оставь, Дзюба, – сказал, ухмыльнувшись капитан. – Он ещё кровью может искупить... или потом. Дома тоже шахты есть. Так, говоришь, в конной служил, Скуратов? У Доватора?

– Ещё у Будённого...

– Знаем, знаем всё про тебя. Повезло тебе: нужен вот лошади, приказали откомандировать. Поедешь с группой сопровождения пленённых лошадей гнать. Не возражаешь, надеюсь, – капитан подмигнул этому Дзюбе, мол, попробовал бы. – Собирайся!

– И для этого надо было под конвоем, разве бы отказался... – не сдержался я.

– Поговори ещё! Марш собираться!

11

И вот уже я еду в выдавшем вида «козле» из Виттенберга на север – в какой-то Мекленбург. За рулём молчаливый старшина из пехоты, у него несколько медалей, даже «За отвагу», «Красная звезда» и гвардейский знак на правой стороне, над которыми две нашивки о ранении. Между ним и сидящим рядом майором немецкий автомат, под ногой несколько рожков к нему. Майор с новенькими погонами и без каких-либо следов наград или знаков на гимнастёрке под солдатским ватником. Позже я понял, что майор Кошелев тоже побывал в плену, и наша командировка была его спасением. Со мной на заднем сиденье два молодых солдата из сапёров. У меня в кармане моя вместо солдатской книжки справка, на боку наган ещё старого образца, выданный перед самым отъездом. У всех на руках красные повязки – это для немцев, значит...

Майор оказался настоящим: разбирался по карте и ориентировался на местности, да ещё и по-немецки говорил спокойно. «Учился, – коротко ответил на мой вопрос. – А этой дорогой и назад будем идти. Здесь корм брать придётся». Это объяснило, почему едем мы просёлками, а не хорошей дорогой, баном. «И в Берлине не будем?» «Ну, Берлин размолочен, как наш Минск, – обернулся старшина. – Англичане бомбили, а потом наши «катеньки» перед штурмом. Так что просёлками сейчас ровнее». «Мимо, до самого Перлина, что в земле Мекленбург. В город, правда, заезжать не будем. Там в Перлине стадо племенных лошадей откуда-то из Восточной Пруссии, из Кёнигсберга...». «Табун, товарищ майор, коней стадом не гоняют!» «Да, да, конечно табун, простите!» Он мне понравился, как и старшина, который, по всему, был здесь старшим, и от его докладов наверняка зависела наша судьба. Но Степан, как он сам предложил себя называть, был солдатом, а не надзирателем. И потому с ним было спокойно и делово.

– А вы, наверное, из самой Москвы, товарищ майор, – спросил я, когда молчать стало уже неловко.

– Нет, из Ярославля я, он постарше Москвы будет, – охотно откликнулся майор. – Там у нас и театр старейший, имени Волкова, артиста русского, слышали?

– Откуда, я в театре-то однажды и был, на съезде колхозников... Вот вернусь, обязательно схожу, нам тогда артисты из оперы пели, из «Князя Игоря»... «Возьми коня любого!», – я засмеялся. – Вот в лагере бы мне предложили коня любого, только бы и видели, да солдату одно кайло положено... и два аршина земли.

– Да, опера Бородина... только бы вернуться!

Я вспомнил комиссию, оперативников, и опять стало тревожно. Понял, что и майор Кошелев теми же мыслями беспокоится. «Ну, не всё же в жизни подлецом оборачивается», – пробормотал он больше для себя и замолчал.

Дорога в основном выложена брусчаткой, по обе стороны мелькали деревья, нас жёстко трясло в нашем «газике». Майор сверялся с картой, порой просил притормозить перед очередным городком, чтобы свериться с названиями на указателях. Ехали почти не останавливаясь, и всё равно эти триста километров одолели едва ли не за восемь часов.

К тому Перлину, оказавшемуся вовсе небольшим городком, скорее селом-дорфом, подъехали уже ввечеру, шёл мелкий дождь, а надо было искать комендатуру. Улицы пустынные и молчаливы, так что пришлось несколько раз проехать, пока не увидели наш флаг и часового у ворот здания с колоннами. Местная управа, как оказалось. Майор вернулся через полчаса: «Здесь и ночуем, комната нам приготовлена. Подъём в семь. Конюшни у них сгорели, но лошадей, комендант сказал, спасли...».

У меня заняло сердце, когда утром пришли мы на огороженный выгон, в котором находился табун. С первого взгляда было понятно, что кони истощены: они стояли понурые, несколько отъёмышей по привычке торкались матерям под брюхо, а матки вяло отгоняли. Несмотря на прошедший дождь, лошади казались нечистыми, да так это и было. Гнедые, которых было большинство, тёмно-рыжие, вороные, каурые, несколько саврасых – у всех шерсть отдавала сухим пеплом, смазывающим природные цвета лошадей в единый нездоровый серый. Под копытами мокрела растоптанная земля, лошади осторожно переступали ногами, когда я проходил между ними, они даже не пугались руки чужого человека, когда я проводил рукой по шее, касался выступающих рёбер и бессильных складок кожи на груди...

– Далеко ли до станции, где их грузить будут? – спросил я майора.

– До Нойруппина километров сто-сто двадцать... У нас три дня...

– Это ведь и сеном назвать нельзя, чем их кормили. Не выдержат они, половину потеряем по дороге, остальные потом... Их бы хоть на неделю на хороший корм поставить!

– Завтра надо выходить... приказ...

Я понимал майора, его страх перед приказом. Такие, как тот капитан или Дзюба из особого отдела, разбираться долго не будут: «саботаж, мол» и вся недолга... Но и потери ведь тоже не простят – так на так и выйдет. Кругом виноватыми окажемся. Это я и говорил, стараясь убедить и старшину, и сопровождавшего нас помощника коменданта. Вроде убедил – решили попробовать дозвониться. Мы остались со старшиной, который тоже жалостливо качал головой, глядя на понурых жеребят.

– У меня есть марки казённые, – сказал он. – Может, добудем корма?

– Нам бы ещё для них время добыть, – махнул я на лошадей.

Мы вернулись в комендатуру. Там уже сам комендант кому-то кричал в трубку: «Это же племенные лошади! Надо понимать, что повезло, и англичане не угнали! Может, и взорвали склады, чтобы нам не достались...».

Оказывается, перед нашими войсками здесь побывали американцы, потом английские солдаты, при них и сгорели конюшни со всем хозяйством.

– Всё! Через семь дней, – комендант закончил разговор и сказал нашему майору: – Неделю вам выторговал, на удачу у них там с вагонами нелады оказались...

Теперь надо было добыть хоть сколько-то зерна и нормального сена. И мы поехали со старшиной по окрестным дорфам, взяв на подмогу солдатика. Благо, мне это было делом привычным по Вальденбургу и Лейне. К тому же, как ни странно, здешние селения оказались пустынное, чем на юге, видимо, потому что севернее шли более ожесточённые бои, а фашистская пропаганда, призывая «сопротивляться до последнего немца», пугала жестокостью «русских варваров». Вот и откатывались поселяне вместе с отступающими частями вермахта дальше, оставляя дома и хозяйства.

Здесь мы, наконец, разговорились со старшиной, который оказался тоже казачьих кровей, только с Хопра. «Ну, я не вовсе станичный, – рассказывал Степан, когда мы на привале выпили немного спирта. – Ещё дед мой подался в лесники, дубравы у нас знатные, потому и кабана довольно, и места грибные. Дубом и строились, дома вековые, а крыши камышом крыли. И отец в лесу, и меня оттуда в армию взяли за два года до войны. Так и не успел жениться, хоть и была зазноба... Да, писали, вышла замуж... что же – на меня две похоронки приходило...».

Спирт у него, помимо пачки дойчемарок, оказался очень даже кстати. В одном селе я отыскал-таки управителя довольно большого имения, к которому вела аккуратная дорога, обсаженная каштанами и дубами. Хозяев там, конечно, не было, но всё содержалось в порядке. Здесь мы и присели пообедать: достали американскую тушенку, свой армейский хлеб, заставили и немца сесть с нами. Налили и ему спирта, на всякий случай вполовину разбавив водой. «Всё нормально – аллес гут, – усадил его, когда стал отказываться. – Тринкен! Русишес вассер – гутер шнапе! За мир-то выпьешь? – фюр фриден!». «Warten sie mahl», – замахал руками и убежал. И не успели мы выпить по второй, как он явился с миской яиц, с добрым кругом кровяной колбасы. А выпив спирт, быстро размяк.

Здесь я и попытался ему объяснить, что нам надо. «Унзере пферде... дойче пферде... филь пферде – хунгер ляйден, понимаешь?.. ферштейн?» – «Их манн... вир мусс корн, хафер... ферштейн? – хеу, корн фюр пферде, ферштейн? Их хабе марки, ферштейн? Не даром возьмём, понятно?» – «Они у нас всё подчистую забирали, а мы здесь миндальничаем! – проговорил старшина, хотя и без злобы. – Надо было с майором ехать, тот объяснил бы. А с яйцами это он хорошо придумал!» – «Вот и пусть знают, что мы – не они, не бандиты, не пугало!»

«Ich verstehe, – говорит немец. – Korn, Mehl...» – «Кайн мель, нур корн унд хафер!» – вразумляя я этого управляющего. И ведь понял!

Километрах в семи оказалась мельница, а в ней в деревянных коробах была пшеница – видно, так и не успели смолоть, или мельник сбежал. «Ты смотри, – удивился старшина, – поняли друг друга! Откуда ты научился?» – «Захочешь жить, и не тому научишься, в концлагере, друг... Да вот только придётся обратно ехать и повозку искать. Что мы в газике увезём? А ещё и сено надо». Сено-то я заметил по дороге, тюками сложенное на поле в большие скирды и тоже не убранное.

Тот же немец, понятливый оказался, показал нам, где можно взять телегу: вполне добротную, с высокими деревянными бортами, да ещё и на резиновом ходу. Мы со старшиной по центру соединили оглобли, скрепили с буксирным крюком

машины. Получился вполне приличный прицеп, заодно здесь же нашёл верёвку, чтобы вязать груз. Немцу я сказал, что возьмём четыре мешка зерна, и отдал ему наугад семьсот марок. Он было начал отказываться, но я настоял и расписку взял: нечего, чтобы потом не порочил нас... «Финден... айн-цвай сэкке... унд хафер?», – ещё спросил, были же у них здесь лошади, наверняка и овсом кормили. И ведь вытащил-таки один мешок с овсом! А я будто знал – для кого его добыл...

Но и с кормом надо было быть осторожнее: лошади, по всему, давно не получали зерна, сеголетки-отъёмышы так и вовсе его вряд ли знали. Поэтому распределил я каждому из нас, включая и майора, по двадцать-двадцать пять лошадей, отделив группы одну от другой жердями, и наказал следить, чтобы каждая животина получала зерно поначалу понемногу – по жмене каждая, но за день три раза, а уж сено пусть жуют хоть днём и ночью, только бы вода рядом была.

Ходил я меж коней и приглядывался – кого-то надо выбрать под седло... Так вот и случилось: на меня скопил глаз саврасый конь, мы с минуту вглядывались друг в друга, и жеребец поднял губу и тихонько гукнул, встряхнул головой и развернулся ко мне. Так ведь бывает и с людьми: встречаешься взглядом с женщиной и до слов понимаешь, что это – твоё близкое, и взаимное доверие окутывает тебя... Но здесь было ещё и другое – саврасый вернул меня к тому серому Бакыбайке, на котором скакал я в детстве... Вспомнился и Сом, мой военный товарищ... Только этот был покрупнее, а сухая голова и большие глаза, точёная и высокая шея и длинный корпус на высоких ногах говорили о хорошей породе. Саврасый дал мне раскрыть его рот и поглядеть на зубы: как я и подумал, зубная звезда на верхних резцах определяла его десятилетие. Провёл ладонью по холке, попробовал почесать за ухом... и отёрнул руку: этих коней, как людей в лагере, поедали вши. И бороться с этой напастью придётся там, в России, людям на конезаводе или куда их там довезут.

Но этого коня я принял, как и он меня: словно общая и похожая судьба лихолетья сближали нас. Кони испытывали то же, что и подневольные пленники в лагере: голод и холод, и грязь, и вшивость, и, кажется, те же болезни изнурения. И также клеймлённые: на левом бедре я увидел тёмным шрамом рисунок лосиного рога. Как и на многих других, на кобылах, которых было здесь большинство. Конечно, они ведь пригнаны с одного завода. Вот только уж они-то никаким боком не виноваты в людской вражде и ненависти... И в своём теперешнем сиротстве.

Я нашёл в комендатуре противогазную сумку и сделал из неё торбу для овса. «А из противогаса теперь можно нарезать ребятишкам резинок для рогаток, – подумал, усмехнувшись. – После такой войны никому воевать больше не захочется!»

И порадовался, что привёз и овёс, для Саврасого моего он будет помягче пшеницы, а ему предстоит вытерпеть ещё мой вес в дороге. Я смотрел, как медленно и, кажется, недоверчиво начинал жевать конь, и мои челюсти тоже двигались, словно помогая ему перетирать зёрна, мне даже вспомнился молочный вкус овса: «Не торопись, у нас есть ещё еда, хватит нам с тобой до самого дома». Я бы и в самом деле согласился поехать домой вместе с конями, но здесь опять был не волен – документы ведь остались в Виттенберге, куда обязаны были вернуться...

Я нашёл скребницу и старое одеяло и всё же рискнул сгонять с моим конём на большое озеро километрах в трёх от Перлина. Сава, как стал его коротко на-

зывать, терпеливо стоял по колено в воде, а я смывал мыло и скрёб худые бока, чуть вислый круп, окатывал из ведра, а потом сгонял воду вафельным казённым полотенцем.

Накрыл одеялом, радуясь сухой погоде и отсутствию мороза, у нас там дома уже лежит снег, да... Сава не сопротивлялся, когда я вскочил ему на спину, и в свободном поводе зарысил к своему стану, а я грел покрасневшие от воды руки в его гриве. Мы оба хотели быть нужными друг другу и друзьями.

За четыре дня нашей кормёжки лошади немного посвежели, но я всё-таки с сомнением смотрел на разнородный табун. Однако пора было выходить. Повозку с оставшимся кормом мы решили так и везти прицепом. И здесь я увидел, как майор, подпрыгивая на одной ноге, пытается взгромоздиться на лошадь, а повод потянул на себя так, что удила врезались в окрайки губ, притягивая голову к самой груди.

– Э, дорогой товарищ, ты когда-нибудь сидел в седле? – впрочем, можно было и не спрашивать. – И сам намучаешься, и коня замордуешь, ...а машину водите?

– Конечно, – было видно, что Кошелев не только растерян, но и боится лошади, которая на него оглядывалась удивлённо и, пожалуй, уже зло.

– Степан, сам видишь, тебе придётся пересесть, ты-то не впервой будешь на коне.

Так и продолжили путь: впереди газик с солдатами и подводой, следом я на Саве, а замыкал гурт старшина на большом рабочем битюге.

Мы продвигались от посёлка к посёлку, проходили небольшие городки и мелкие хутора по мощёным дорогам, иногда всё же сбивая табун на обочину за ровным рядом мощных деревьев, что охраняли булыжный путь, словно солдаты, потому что некованные лошади, особенно малолетки, спотыкались и быстро уставали. Майор на «козле» с прицепом часто уезжал вперёд, а потом дожидался нас, спрашивал, не нужна ли помощь, сверял нас с картой и ехал дальше. Я объезжал гурт то с одного боку, то с другого, не давая растекаться в стороны. И в который раз удивлялся, что поселения так близко одно от другого: в наших степях можно было ехать порою по сотне километров, не встретив и юрты, не то что впритык лепящихся дорфов. И эти аккуратные наци хотели покорить такие пространства!.. С нашей-то широтой и свободой, с нашим умением помогать в беде даже незнакомому и самому хоть под кустом ночевать!

Погода нас баловала, даже солнце выглядывало, но на второй день две кобылы легли, и поднять их никакими усилиями нам не удавалось.

– Придётся пристрелить, что им мучиться, – сказал Степан.

– Вот так и нас пристреливали на дороге... как собак, не оглядываясь, – меня окатила злобная память, но сдержался – старшина-то здесь ни при чём. – Пожди, я быстро обернусь...

Недалеко от дороги был посёлок, но улицы, несмотря на день, были пустынные. Безрезультатно объехал я со стуком несколько домов, пока, наконец, не вышел во двор дородный немец. «Битте, ком, – для убедительности я махнул рукой. – Хильфе, шнель, битте!». Немец смотрел на меня испуганно, потому что я стучал ладонью по кабуре. «Найн, кайн револьвер... хильфе пферд!».

Не знаю уж, что он подумал, но всё-таки он пошёл за мной. На удачу, словно чувствуя неладное, подъехал майор без прицепа и солдат.

– Нам их не поднять, – объяснил я ему и указал на немца. – Объясните ему, что он должен забрать их себе, пусть выходит, ему же прибыль. А стрелять лошадёй я не буду и не дам. Они не виноваты!..

Что уж майор втолковывал немцу, только тот закивал головой и быстро заговорил о чём-то майору. Оказывается, соглашаясь, просил расписку, что лошади ему переданы командованием. Перед кем ему отчитываться-то?!..

Оставив майора улаживать, мы погнали табун дальше, не торопясь.

К вечеру мы выбирали место ночёвки, вокруг собранных лошадей вбивали колья, по которым разносили верёвку с лоскутами материи вместо флажков и консервными банками, разносили сено. Дежурили по очереди, но здесь уж большая часть времени дежурить доставалась солдатам. Днём отоспятся. Своему коню и битюгу старшины я привешивал торбу с зерном, так что к утру был уверен в их сытости. Поили в попутных каналах.

Такие задержки от падежа произошли за эти дни несколько раз: пробег в тридцать-сорок километров вроде и не такой трудный, но несколько больных всё же оставались на дороге. И здесь ничего нельзя было поделаться, время подгоняло нас, тоже уже вымотанных и торопящихся с этим покончить. Голов двадцать осталось по пути, кому-то из них, быть может, и повезло жить дальше.

Сколько верёвочке не виться, а конец всё приходит.. Мы вошли в тот Ной-руппин, где наш гурт ждали вагоны. Встретили нас гражданские вперемешку с военными, с завода приехали новые хозяева этих лошадей, не меньше людей перетерпевших на этой войне вовсе безвинно.

А мне надо было прощаться с моим саврасым Савой. Что бы там ни говорили о человеке как совершенном создании, в благородстве он часто проигрывает некоторым другим животным... Хотя бы тому же коню, что веками служит верой и правдой этому враждебному, по сути, существу: несёт человека и его грузы через степи и горы, пашет до изнеможения и смерти землю, крутит шахтный подъёмник и возит нарядные коляски с женщинами и детьми. И вот так – воюет, несёт безумного всадника на пулемётные очереди и разрывы снарядов, которые не он придумал... Только лошадь способна раздарить себя в скачке до последнего вздоха, и только лошадь, да разве ещё собака, способна помнить и тосковать о своём двуногом друге... И плакать способна, это я знаю.

Сава почувствовал, что мы расстаёмся.

Ко мне подошёл мужчина в кожанке, взял повод и попробовал провести рукой по холке. Конь тряхнул головой, попятился и, задрвав морду, глянул на меня полиловевшим взглядом.

– Ишь ты, норов! – уважительно сказал человек. – Твой? Хорош! Ещё женим его!

– И далеко увозите?

– На Дон, под Ростовом завод Кировский, слышал? Там ему самое место, отвоевались... Линию поведёт, хороших кровей жеребец, видно, подкормить бы...

– Ты вот что, друг... Звать его Сава, как уж там в племенной числится, не знаю, а на это отзывается. Он рабочий и добрый... вот торба, и рюкзак с зерном, проследи... А мы сейчас...

Я взял у него повод, а лошадиник понял и отошёл.

Я прижался лбом к морде коня. Было тепло от его дыхания, я ощутил, как на груди его перекачиваются мышцы, а уши нервно прядут. Я отступил на шаг.

чтобы увидеть глаза, но Сава мягко прихватил зубами за ватник у плеча. «Что же, приятель, и мне пожелай хорошей дороги! – шептал я ему, снова обняв за шею. – Ты умница, друже, я не забуду...». Это было понятно ему и мне. Я ушёл, не оборачиваясь, пытаюсь проглотить комок в горле и не слышать его гуканья.

Дальше было возвращение в Виттенберг и ожидание тем томительнее, что плечо словно ещё ощущало мягкий прикус зубов Савы, а щека – тепло его прощального выдоха.

12

Наконец в двадцатых числах ноября мы выехали в поезде. Мелькали аккуратные и этим тоже осточертевшие домики немецких дорфов, потом пошли поля Польши, долгие стоянки, ожидание. И тревожные слухи или мысли о дальнейшей судьбе нашей, о жизни на родине.

На шестой день эшелон прибыл в Брест. Здесь уже всё было другое: наш воздух, наша речь, даже дорога отсюда начиналась другая – ведь колея до границы на их, чужой, железке и то была чужая – заметно уже, будто и здесь они экономили пространство, и вагоны другие, которые не могли нас везти дальше по нашим широким рельсам.

Начальник эшелона, тоже из репатриантов, пошёл доложить военному коменданту. На вопрос о составе для нас комендант грубо ответил: «Что вы такое, я вон демобилизованных солдат Красной Армии отправить не могу! Ждите, мать вашу, пока очередь наступит...».

Шёл тусклый позднесенний дождь, когда наш эшелон выгрузился с вещами у какой-то длинной кирпичной стены. Здесь уже довольно долго «загорала» ещё одна партия бывших военнопленных, размещались и питались, кто, где и как мог, и никто не ведал, когда же их отправят. Информация в первый же день прибытия не сулила особо хорошего, говорили о самоуправстве вояк из комендатуры, время от времени уводивших кого-нибудь под разными предлогами, а потом попросту отбиравших вещи... Слухи подпитывали друг друга.

А в это время пассажирский поезд Брест – Москва пыхтел на путях. «Поеду в Москву, – решил я себе. – Через нее и в Казахстан свою, там видно будет...» Эта мысль, видно, не у одного меня случилась: многие из наших, не считаясь с солдатами комендатуры, осадили поезд, гурьбой полезли отсиживающиеся здесь же офицеры – в вагоны, рядовые – на крыши. К ним присоединилась и часть нас – репатриантов, тоже больше на крыши. «Пусть, – думал я, подталкиваемый сзади товарищами, закинувшими и мои вещи вместе со мной. – Как уж выйдет, в крайнем случае, если суждено оказаться невинно виноватым, то шахт и в Казахстане всяких достанет...»

В Бресте нам должны были выдать аттестаты на довольствие, проездные документы до самого дома, а также обменять оккупационные марки на настоящие деньги, на советские рубли. Однако теперь этими формальностями пришлось пренебречь. Мы разместились на крышах, внизу солдаты пытались нас согнать, но что они могли сделать – нас было так много отчаянных, что справиться им было не по силам... Не стрелять же нас, как голубей. Поезд тронулся.

Стемнело уже через час, а потом пошёл дождь. Скоро и вовсе снег повалил. Громоздкие вещи мы привязали к трубам, а из баула я достал добротное стёганое одеяло: укрылся не только сам, но ещё и два товарища с обоих моих боков. Ехали

почти всю ночь без задержек, к рывкам мы скоро притерпелись и старались поначалу держаться настороже при подъезде к станциям – вдруг снова будут попытки нас снять. И не выдержали: перед самым рассветом на какой-то станции, где остановился поезд, вдруг уснули так крепко, что и пропустили, когда с нашего вагона было сброшено несколько ящиков и чемоданов. От стука по земле этих ящиков мы и пробудились. Да поздно: два субъекта в форме, неразличимой во тьме, шли по крыше, один из них поддерживал другого и громко приговаривал «Осторожнее, товарищ капитан, не оступитесь!» Здесь же незнакомцы спустились вниз, а поезд тут и тронулся.

Вниз ушли и мои ящики с чемоданом. Соскакивать с вагона было бессмысленно: наверняка внизу вещи ждали другие бандиты, или кто там они были... Это подтвердили и с другого вагона, едва мы подняли шум.

– Мы видели, – говорили нам оттуда. – Но промолчали, чёрт с вещами теми – у нас тоже стояли два таких солдата с пистолетами. На мушке нас держали, пока тот у вас верёвки срезал. Капитан или кто ещё тот хрен, тоже с пистолетом стоял, хорошо, что вы не ерепенились... Так что – дома мы теперь!.. Узнаётся, млять!

Осталось поддержать смех. Что говорить, жалко было утраченного – понимал, что начинать мне придётся с нуля, так что вещи не были б лишними... Что ж... на мне оставалась югославская шинель, китель с брюками, бельё – что надел в дорогу. Да ещё часы-штамповка на руке, а в чемодане лежала пара настоящих швейцарских... Хлопнул по карману, там сохранился портсигар от Марии, но я не стал его доставать. Укрылись мы снова моими одеялами и теперь уже без всякой оглядки заснули дальше.

На второй день нас всех снял с крыш очень большой наряд комендантских солдат. Человек двести. «Не волнуйтесь, – сказали нам. – Из-за большого наплыва демобилизованных есть распоряжение не пускать поезда на Москву, а направлять в объезд. Скоро отправится состав на Тулу, на нём вас отправим...»

Тот поезд не остановился даже в Туле, зато, проехав ещё на восток, он стал в Балашове вовсе и дальше не пошёл. Здесь я вспомнил старшину Степана и пожалел, что он остался там – это была его станция и его земля. На этой узловой станции скопилась масса солдат, офицеров, видимо, вот так же провезённых мимо Москвы. Здесь я продал за шестьсот рублей одно одеяло – надо было на что-то есть. И решил любым путём, хоть на подножках, хоть в тамбуре, но выбираться поскорее, пока есть хлеб и силы.

Поезда на восток идут почти непрерывно – и пассажирские, и товарняки. Но попробуй – сядь: у всех пассажирских поездов на остановках двери подпираются изнутри ломиками, а проводникам на остановках ещё и помогает наш брат – такие же солдаты, только уже отвоёвавшие себе место в вагоне. Так, видно, всегда получается у «человеков»: пока они снаружи – кричат и правды ищут, а как попадут внутрь – так начинают свои правила отстаивать и собственные преимущества любым путем утверждать...

Всё же я ещё с одним товарищем подцепился, устроились мы на буфере вагона. Ехали долго, проехали Саратов, мелькали какие-то мелкие станции, в тамбур нас не пускают, а не лето – конец ноября уже. Промёрзли так, что руки вот-вот отвалятся и держаться откажутся. «Сойдём к чёртовой матери, – говорю спутнику задубевшими губами. – Замёрзнем здесь, под колёса свалимся...»

Сошли на станции Пугачёв, почему и название запало в памяти. Спутник мой заторопился в здание, я было за ним. Только вижу – в одном вагоне открылась входная дверь. Я с полного хода бросился к поезду и уже на ходу заскочил-таки в тамбур. Проводница было обрушилась на меня, а я с улыбкой отмахнулся от неё. Улыбался я ещё и потому, что вспоминал грабителей, освободивших меня от груза, налегке-то дом оказывался ближе!.. Теперь-то, после лязгающего буфера, и тамбур показался мне мягким салоном!

И только в Оренбурге, измученный чуть ли не семью сутками такой дороги, зашёл я внутрь вагона. Здесь оказалось вовсе тепло, да и людей было не так уж много. Сел я на нижнюю полку, дремать было начал, когда подходит ко мне мужчина моего примерно возраста в полувоенной форме.

– Где-то я ведь вас видел? – говорит он.

– Ну, я-то вас никогда не видел, это точно, – быть может, даже и не очень приветливо ответил я.

– Да нет, ваше лицо очень знакомо... нет ли родственников в Актюбинске?

– Туда я сейчас и еду... брат у меня там родной – Камал Досымбетов...

– Вот я и гляжу! В Уилской заготконторе он работает, я же хорошо знаю твоего брата! Из армии? – товарищ тот оживился и обернулся к другому рядом. – Ты вещи принеси, здесь расположимся, возвращение земляка отметим.

Среди вещей их оказалась фляжка со спиртом, я достал последнюю свою банку консервов. Вскоре ещё несколько офицеров подошло из соседней по вагону – застолье у нас быстро собирается. «Так кто же из вас ломиком дверь подпирал и отталкивал? – скоро стал смеяться и я, вспоминая пронизывающий ветер снаружи, теперь-то уж оставшийся позади. – За возвращение, ребята!». Вот теперь я впервые по-настоящему осознал, что я уже на своей земле, дома...

Впрочем, сойдя в Актюбинске, до брата добраться я не смог. Три дня ждал погоды для самолёта, но не выдержал больше. Сходил только ещё в горисполком, выпросил там на три дня продуктов, которые мне и отпустили в каком-то магазине. А после этого пошёл на станцию да и сел на первый же поезд без всякого билета. Мне надо было заехать сначала по месту бывшей работы – в Кзыл-Орду, чтобы определиться, как же строить жизнь дальше.

Но и в конторе своей я не задержался. И хоть встреча была радостной с теми, кто ещё работал и помнил меня, но как многих мы теперь не досчитались... семеро из десяти ушедших на фронт не вернулись. «Оставайся», – говорили мне. «Нет, сначала съезжу в Алма-Ату, на могилу к отцу схожу... там видно будет».

Дороги, дороги... они всегда уводят человека от прошлого, и ты уходишь по ним, теряешь родных, друзей... потом вновь находишь, и снова надеешься, и живешь дальше. Порой оглянешься назад, и кажется, будто не с тобой это происходило, а потом взглянешь на себя и поймёшь, что время и с тобой играет свои шутки – ты уже шагнул в тот возраст, который принято именовать «пожилым», а тебе вновь приходится начинать строить жизнь чуть ли не с начала. Да что там говорить!..

И вот уже двадцатого декабря сорок пятого года поезд несёт меня из Алма-Аты в командировку в Уральск. Ехать приходилось тогда почти пятеро суток.

Я не зря начал говорить о дорогах. Они и вправду дарят иногда такие неожиданные, которых нарочно и не придумаешь.

В купе со мной едет снабженец с винзавода, какие-то детали к двигателям ему там надо «выбить», а главное – договориться о поставках местного вина.

Само собой организовалось застолье: у него был виноградный спирт, я выложил ливерную колбасу и лепёшки, купленные на рынке. Вышли в тамбур покурить.

– Знатный у тебя портсигар, – заинтересовался попутчик, когда я предложил ему папиросы «Норд», отоваренные по карточкам. Курил я по-прежнему редко, вот разве когда выпьешь да в компании за разговором. Но пополнял портсигар постоянно: всегда находился «стрелок»-охотник, а папироса уже и располагала к доверию, как выпивка.

– Старинный, видно, – залюбовался собеседник. – Красивая голова у коня, породная, не здешних кровей, да?

– Сам видишь, там и арабы прилиты, и английская чистокровная. Скаковая голова, – я спрятал портсигар, чтобы перевести разговор.

Впрочем, всё равно заговорили о лошадях, о местной породе, которая неприхотлива, но красоты в ней немного. «Голова, что твой чемодан, – смеялись. – Строевых-то коней всех почти извели в войну...».

– У меня в Талгаре та-акой битюг по хозяйству...

– Постой, постой... так ты из Талгара!

Словно током ударила боль потери, память о моем товарище Иване Шкуропате, о других, погибших тогда же, во время прорыва под Лозовой...

– ...Хороший у меня был товарищ оттуда, из Талгара, – поделился я с земляком.

– Видно, погиб в сорок третьем... многих тогда потеряли... Иваном Шкуропатом звали...

– Да жив же Иван! – хлопнул меня по плечу собеседник. – Жив! Ещё в сорок четвёртом вернулся раненый домой. Сейчас на спиртзаводе у нас работает... кажется, недавно ребёнок даже родился у него...

Я торопил время командировки вовсе не потому, что надо было еженедельно отмечаться в спецотделе, как бывшему в плену; торопил обратный поезд, спешил в Талгар, всё до конца не веря... И щупал тот портсигар в заднем кармане, как амулет...

Но калитку мне открыл сам Иван, будто и ждал меня.

– Живой, братишка, – шептали мы друг другу, не в силах разнять пожатие рук, снова и снова дотрагиваясь друг до друга, словно желая убедиться – да, мол, жив. Взахлёб рассказывали, что пережили. Ивана укрыли жители до прихода своих. Воевал, ранен, вернулся, вот и дитё уже... послевоенное! «Да, дети... – подумал вдруг я, отгоняя ненужную теперь память. – Послевоенные дети...». Достал портсигар... где-то мой тракенен Сава... и...

– Живём, брат!.. Теперь живём!

